

БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



А. С. ПУШКИН
ИЗБРАННОЕ



Scan Kreyder - 21.05.2016
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



Мне так давно знакомо
Ваше это письмо Марии

А. Н. Кирilloв

А.С.
ПУШКИН

*И*ЗБРАННОЕ



МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”

1976

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.	Дехтерев Б. А.	Мотяшов И. П.
Алексеев С. П.	Думбадзе Н. В.	Мустай Карим
Алексин А. Г.	Коржев Г. М.	Новожилова Э. Г.
Барабаш Ю. Я.	Леонов Л. М.	Пешеходова Г. К.
Барто А. Л.	Лихачев Д. С.	Прилежаева М. П.
Благой Д. Д.	Ломунов К. Н.	Свиридов Н. В.
Верейский О. Г.	Марков Г. М.	Столетов В. Н.
Виноградов А. А.	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гамзатов Расул	Миршакар Мирсайд	Танк Максим
Гончар Олесь	Михалков С. В.	Шолохов М. А.
Данилов С. П.		

*

Текст печатается по изданию:
А. С. Пушкин,
Собрание сочинений в десяти томах,
«Художественная литература», М., 1974.

*Под общей редакцией
и с предисловием
Д. Д. БЛАГОГО*

*Оформление и иллюстрации
Б. А. ДЕХТЕРЕВА*

П 70803—488 Подп. изд.
М101(03)76

© Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г.

ГЕНИЙ РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В столице нашей многонациональной родины, Москве, в самом центре ее, на Пушкинской площади, против Тверского бульвара, по которому так любил бродить Пушкин, высится величавый в своей простоте памятник поэту. На нем известные каждому с детства, провидящие даль веков слова:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

В этих словах предельно сжато и точно раскрывается основная направленность пушкинского творчества — страстное, неискоренимое свободолюбие и горячее сердце поэта — высокая гуманность, человечность.

Еще на школьной скамье, пятнадцатилетним подростком в стихотворении «Лицинию» Пушкин писал: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен». И хотя в нем говорилось о судьбе Древнего Рима, оно вызывало мысли о российской действительности, побуждало размышлять о том, что творится вокруг.

Осуждение всего косного, рабского, мешающего свободному расцвету личности, свободному развитию народа было с юношеской поры присуще Пушкину. Отсюда его неизменный и пристальный интерес к революционным событиям прошлого, особенно к наиболее близкой ему по времени и наиболее значительной из всех до того бывших — французской революции конца XVIII века. Отсюда его жаркое сочувствие к современным ему национально-освободительным движениям в Италии, Германии, к испанской революции, к борьбе греков и славян против чужеземного ига. Отсюда и кровная близость поэта к тем, кого он называл своими «друзьями, братьями, товарища-

ми», кто готовил первое в России революционное выступление против царизма,— декабристам.

«Вольные стихи» и политические эпиграммы, которые Пушкин начинает писать сразу же по окончании Лицея, исполнены ненависти и жгучего презрения к «самовластительным злодеям» на тронах и к их «холопам» в военных и чиновничьих мундирах, к «барству дикому», жестоко угнетавшему закрепощенный народ. Такие его стихотворения, как ода «Вольность», «Деревня», как послание «К Чаадаеву», прозвучавшее как первое юношеское объяснение в любви Родине и Революции, оказывали огромное влияние на передовые круги общества.

Свидетельства современников поэта, в особенности самих декабристов, обнаруженные в наше время секретные архивные материалы убеждают в том, что хотя Пушкин и не был членом тайных политических обществ, но по существу он являлся своего рода поэтическим вождем декабризма, как позднее его политическими вождями стали Рылеев и Пестель.

Это почуяло и царское правительство. Еще задолго до того, как пострадали друзья Пушкина, входившие в тайные общества, на него уже обрушилась суровая кара: поэт был выслан из Петербурга сперва на юг России, а затем в глухую тогда псковскую деревню — Михайловское. На юге, в тесном общении с наиболее радикальными кругами декабристов его революционные настроения всё нарастают. Он создает одно из самых сильных своих политических стихотворений — «Кинжал». Но уже вскоре, человек исключительного ума и редкой прозорливости, Пушкин начинает осознавать основную слабость буржуазных национально-освободительных всплесков на Западе и движения русских дворянских революционеров — неучастие в них народа. Трагический исход восстания декабристов подтвердил всю основательность этих опасений поэта.

Новый царь, стремясь расположить к себе общественное мнение, вернул в 1826 году Пушкина из его более чем шестилетней ссылки. Однако продолжавшиеся преследования властей, неусыпная секретная слежка за каждым его шагом, цензурные притеснения, невозможность в этих условиях свободно отдаваться своему творческому труду сделали жизнь Пушкина «на воле» еще более тяжелой, чем в пору, когда он находился на положении «ссылочного невольника». Поэт задыхался в «мертвящем упоенье света», в «сем омуте», в котором, в особенности после женитьбы, он обречен был, по его собственным ироническим словам, «купаться». Однако все попытки Пушкина вырваться на волю пресекались царем. Гневные бичевания поэтом продажной и развратной придворной знати (стихотворения «Поэт и толпа», «Моя родословная» и др.) вызвали к нему бешеную ненависть.

Рукой бежавшего от французской революции в Россию «на ловлю счастья и чинов» Дантеса, как писал Лермонтов в своем грозном стихотворении на смерть Пушкина, представители «высшего света», «стоящие у трона свободы, гения и славы палачи», расправляются с тем, кто сам называл себя «певцом» декабристов, кто «вслед Радищеву» восславил свободу.

Безвременная гибель Пушкина явилась тягчайшей национальной утратой. Вся его литературная деятельность продолжалась немногим более двух десятилетий, но за этот недолгий срок Пушкин сумел решить задачи огромной культурно-исторической важности: придал новой русской литературе достоинство подлинной национальной самобытности и поднял ее на уровень наиболее передовых литератур мира. Именно это сделало Пушкина родоначальником всей последующей русской литературы.

Изумителен самый размах развития Пушкина-писателя, стремительность его творческого пути. В его творческом наследии — поэта, драматурга, прозаика — мы имеем образцы почти всех литературных видов — от небольшого лирического стихотворения до романа, от эпиграммы до трагедии. Каждая новая крупная вещь Пушкина — обычно не только чудо искусства, но и целый новый этап в истории нашего литературного развития.

Пушкин — олицетворение и символ нашего национально-исторического бытия. В его творческой мощи и многогранности облика со всей полнотой выразились одаренность и могучая сила породившего его народа. «В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер...» — писал Гоголь.

Именно Пушкин установил тот, доведенный им до высочайших степеней художественного совершенства язык, на котором заговорила следовавшая за ним русская литература.

Исключительно велика роль Пушкина как замечательного художника-живописца нашей природы. Во время своих вольных и подневольных скитаний он изъездил вдоль и поперек многие края нашей необъятной родины: от Петербурга до Крыма, Одессы, Закавказья, от Балтики до Урала, до начала степей Средней Азии. И он первым так широко, полно и, главное, так поэтично показал нам мир, в котором мы живем. Из стихов Пушкина глянул на читателей недоступно-суровый Кавказ во всем его грозном величии, с его уходящими ввысь ледяными колоссами гор, с нагими громадами утесов, с шумящими и пенящимися потоками, лижущими голодной волной крутые теснины ущелий. Под художественной кистью поэта засверкала всеми красками ослепительно солнечная крымская природа. Впервые открыл нам поэт глаза и на не блещущую яркими красками юга, скромную и такую простую на вид, но исполненную

неизъяснимой прелести для русского сердца природу средней полосы России. Поэт любил сам и научил нас любить утреннюю свежесть наших весен, пышное очарование осени, великолепные снежные панорамы зимы.

Так же горячо, преданно, как родную землю, любил Пушкин и родную культуру, исторические центры, вокруг которых складывалась национальная жизнь, росло и крепло государственное единство. Еще в своих ученических стихах, читанных на лицейском экзамене в присутствии Державина, срывающимся отроческим голосом, восторженно славил Пушкин «края Москвы, края родные». С годами это чувство к «родимой стороне» в нем все усиливалось. Вспомним знаменитые, навсегда запечатлевшиеся в наших сердцах строки о Москве из предпоследней главы «Евгения Онегина». Москва была дорога поэту не только потому, что здесь он родился и провел детские годы,— в Москве он видел основу и средоточие национальной жизни и культуры — «мать градов России», в течение столетий боровшуюся за единство, свободу и независимость народа. Восторгаясь героическим прошлым России, Пушкин вместе с тем любил родную страну в ее живом движении вперед, в историческом развитии. Любя и славя родную, овеянную «дымом столетий» «красную Москву» (древний эпитет, использованный Пушкиным в «Борисе Годунове»), поэт не менее любил и славил новый, «юный» город над морем, созданный «манием» мощного преобразователя, который вывел страну на широкий путь мирового развития, «прорубил окно» в Европу (вспомним изумительное по красоте и силе вступление к «Медному всаднику»).

Интерес к истории, в особенности к истории родной страны, сказывается в Пушкине с самых ранних лет и проходит, все усиливаясь, через всю его творческую жизнь. От попыток обработки летописных легенд («Песнь о вещем Олеге») Пушкин восходит к таким величайшим созданиям художественно-исторической литературы, как «Борис Годунов», «Полтава», «Капитанская дочка», незавершенные «Арап Петра Великого», «Рославлев».

В творчестве Пушкина заключена целая галерея замечательных художественных образов героических деятелей нашей истории — от древнерусских князей до военачальников Московской Руси, от «птенцов гнезда Петрова» и «стаи славной Екатерининских орлов» до «начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью двенадцатого года».

Но среди всех этих величавых образов больше всего привлекала и волновала поэтическое воображение Пушкина колоссальная фигура Петра I. Вспомним знаменитые пушкинские «Стансы» 1826 года:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Последующие произведения, связанные с темой Петра, развертывают образ, сжато и выразительно намеченный в этом четверостишии. В «Полтаве» Петр дан в ореоле военных триумфов. Перед нами написанный во весь рост широкой, размашистой кистью «самодержавный великан» — герой-полководец, нанесший сокрушительный удар дерзкому и опасному врагу. В создаваемом почти одновременно «Арапе Петра Великого» Петр показан в не менее героическом, но мирном облике строителя новой России.

В образе Петра Пушкин дал не только яркое изображение исторического героя, в нем заключено и понимание поэтом существа подлинного героизма. Еще до появления в произведениях Пушкина образа Петра его творческое сознание настойчиво занимал другой исторический образ — Наполеон. Пушкина привлекала к себе блистательная и трагическая судьба этого «могучего баловня побед». Однако он решительно осудил в Наполеоне глубоко эгоистическую природу буржуазно-европейского индивидуализма. Деятельностью Наполеона руководит одна безмерная «жажда власти», все остальные люди для него — лишь «орудие» к достижению личного могущества. Совсем иное — пушкинский Петр «Стансов», «Полтавы», «Арапа Петра Великого», неутомимый труженик, оказывающий глубокое влияние «на судьбу великого народа», созидающий «гражданство северной державы».

И еще одна черта должна быть присуща, по Пушкину, истинному герою — это высокая гуманность. «Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран...» — говорит поэт в конце стихотворения «Герой», написанного знаменитой болдинской осенью 1830 года. Чертами истинного великодушия, большим человеческим сердцем обладает и пушкинский Петр. В «Полтаве» он широким, щедрым жестом подымает за здравный кубок за своих побежденных «учителей». В «Арапе Петра Великого», обремененный государственными делами и заботами, Петр находит время для устройства личной судьбы своего «крестника» — безвестного чужака, всеми втайне презираемого «негра» Ганнибала.

Позднее, когда Пушкин начал готовиться к работе над научно-историческим трудом о Петре I, обращение к историческим источникам, архивные материалы развеяли многие его «мечты поэта». Петр предстал Пушкину в двойном обличье: не только великого государственного преобразователя, но и «само-

властного помещика», «кнутом писавшего» свои «тиранские указы». Это новое осознание его образа знаменательно отразилось в том углубленном понимании сущности исторической деятельности Петра, которое дано Пушкиным в «Медном всаднике». Поэт показывает здесь как бы оборотную сторону медали с отчеканенным на ней «божественным» ликом царя-героя. «Герой Полтавы», строитель Петербурга является и в другом своем облике — «истукана» самодержавия, топчущего своим медным коном бедного, разбитого страшным горем труженика Евгения. Это — уже начало нашего понимания двух сторон в деятельности Петра.

Наряду с созданием образа большого исторического деятеля Пушкин с величайшей художественной убедительностью раскрыл высокий героизм простых и скромных, ничем особенно не выделяющихся, самых что ни на есть обыкновенных на вид русских людей. Таков в «Капитанской дочке» образ коменданта Белогорской крепости, «вышедшего из солдатских детей» капитана Миронова, отдающего жизнь за то, что он считал «святыней» своей совести. Таков в повести «Дубровский» кузнец Архип, который только что беспощадно расправился со своими классовыми недругами и тут же с опасностью для жизни выносит из пылающего здания кошку.

Пушкин-человек был и ощущал себя дворянином. Но величайший интерес, тяга, любовь к простому народу сказывались в нем в течение всей его жизни. На юге Бессарабии он проводит несколько дней в цыганском таборе. В годы михайловской ссылки в крестьянском наряде смешивается на ярмарках с народной толпой, подпевая нищим слепцам, присматриваясь к выразительным народным лицам, прислушиваясь к меткому народному слову. Вспомним, какую трогательную привязанность испытывал Пушкин к своей няне Арине Родионовне, «доброй подружке» его ссыльных лет, «голубке дряхлой», воспетой им в стихах, проникнутых предельной ласковостью и человечностью.

Пушкин сам называл себя поэтом действительности. В его творчестве дано множество художественно-типических зарисовок самых различных слоев русского общества — от светских столичных денди до провинциальных помещиков, чиновников, мелких ремесленников, крепостных крестьян. К героям своих произведений, как бы они ни были близки подчас его уму и сердцу, Пушкин умел отнестись с объективностью и критичностью подлинного, беспощадно правдивого художника-реалиста. Именно такова художественная трактовка во многом очень близкого ему образа Евгения Онегина. В описании гостей, съехавшихся к Лариным на именины Татьяны, перед нами — прямое предвосхищение помещичьих персонажей «Мертвых

душ» Гоголя. Но вместе с тем Пушкин умел рисовать русского человека не только в его ограниченном конкретно-историческими условиями бытия, но и в его идеальном облике, в котором лучшие черты русского характера обретают свое полное выражение. Такова его «русская душой» Татьяна, овеянная атмосферой народной сказки, «преданий простонародной старины», жертвующая личным счастьем во имя того, что она считает своим долгом.

Такой же идеальный образ возникает перед нами из лирики Пушкина, которую Белинский недаром называл школой «лелеющей душу гуманности», — образ самого поэта, безграничного в сочувствии ко всему, в чем бьется и кипит живая жизнь, отзывающегося всеми струнами души на все высокое, доброе, прекрасное, самоотверженного в преданности друзьям, лишенного узкоэгоистического чувства в своем отношении к любимой женщине. Вспомним единственный в своем роде шедевр во всей мировой лирике — стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может...».

Но, пожалуй, ни в одном из созданных Пушкиным художественных образов русского человека ему не удалось достигнуть такой народности и такой жизненной правды, как в образе вождя народного восстания Пугачева, изображенного им без фальшивой идеализации, во всей его суровой реальности. И вместе с тем его образ вызывает невольную симпатию. Пугачев отличается свободолобием, хладнокровием, удалью, орлиной широтой натуры. Вспомним так горячо рассказанную им сказку об орле и вóроне, смысл которой заключается в том, что миг вольной и яркой жизни лучше многих лет прозябания. Вспомним дважды вложенную автором в его уста выразительную поговорку, которую он исследует: «Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай». Пугачев справедлив: «Кто из моих людей смеет обижать сироту!.. Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет». Он беспощаден к своим классовым врагам и вместе с тем обладает замечательной памятью на добро.

Пушкин не только любил свой народ, он и гордился им. Гордился гением сына беломорского рыбака Михайлы Ломоносова, в одном своем лице заключавшего «целый университет», гордился высоким патриотическим подвигом нижегородского мещанина Кузьмы Минина. Он, столь ценивший историческую роль древних родов, в том числе и «шестисотлетнего» рода бояр Пушкиных, тем не менее замечал: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши родословные».

На глазах мальчика Пушкина раскрылась одна из ярчайших страниц героической жизни русского народа — Отечественная война 1812 года.

С какой гордостью за русские отважные сердца вспоминал он

в стихотворении «Наполеон» (1821) яркие эпизоды этой самоотверженной борьбы.

В начале тридцатых годов прошлого века в Европе снова начали проповедовать «крестовый поход» на Россию. И снова какие гордые и спокойные в своей непоколебимой уверенности в неисчерпаемую силу и моральную мощь русского народа слова обращает поэт к расшумевшимся европейским «витиям»: «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?» («Клеветникам России», 1831.)

Бывает «патриотизм» реакционный, который готов превозносить даже и недостатки, темные стороны в жизни своего народа, своей страны, лишь бы на них лежал отпечаток «отечественного». Но есть и патриотизм другой — действенный, активный, который умеет ненавидеть во имя любви, считает необходимым бороться, искоренять эти недостатки во имя пробуждения лучших возможностей народной жизни, лучших черт национального характера.

В своих рабочих тетрадях молодой Пушкин сделал следующую запись: «Только революционная голова... может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке». Сам Пушкин, давший в своем незаконченном романе «Рославлев» негодующую зарисовку светско-аристократического лжепатриотизма, любил Россию не в ее искаженном самодержавием и крепостничеством виде. Отрицательные стороны русской действительности он бичевал в своих вольных стихах, высмеивал в саркастических строфах «Евгения Онегина», в главах «Дубровского». Но он горячо верил в богатейшие возможности своего народа. Как писал Гоголь, он прозорливо провидел и дал в ряде образов своего творчества «русского человека в конечном его развитии».

Гоголя и Белинского поражала «всемирная отзывчивость» Пушкина: его братская открытость всем голосам мира, его умение художественно проникаться самыми разными сторонами культурно-исторической жизни человечества в самых различных ее формах и проявлениях. Действительно, нет у нас другого писателя, который бы дал столько полноценных художественных произведений на материале не только русской, но и зарубежной жизни, сколько их дано Пушкиным.

В поле художественного зрения Пушкина — не только русский, но и братские народы нашей гигантской родины. Наряду с Татьяной и Полиной из «Рославлева» он создает исполненные тончайшей женственной прелести образы «девы гор» — черкешенки, цыганки Земфиры, мужественный и смелый образ украинки Марии, поэтический облик калмычки, мудрую, эпическую фигуру старого цыгана, черкесов (отца и сына) — Гасуба

и Тазита. И тот народ, которому Пушкин завещает свое творчество,— это не только русский народ, но и все те разнообразнейшие «языки» (как уместно и выразительно здесь это старинное слово «язык» в смысле «народ»!), которые населяют нашу многонациональную страну:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...

Слова эти воспринимаются ныне как пророчество о наших днях. Имя и слово Пушкина, как своего, близкого, кровного,— на устах всех народов Страны Советов.

Все громче звучит слово Пушкина, все шире разносится слава Пушкина и далеко за пределами нашей страны.

«Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества,— писал Белинский.— Каждая эпоха произносит о них свое суждение и как бы ни верно поняла она их, но всегда останется следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное».

Новая эпоха для решения вопроса о «национально-всемирном» значении Пушкина настала в наши дни. В 1843 году, когда появились первые четыре статьи Белинского из цикла его знаменитых статей о Пушкине, он писал: «Какую идею предназначено выражать России, определить тем труднее и даже невозможнее, что... Россия есть страна будущего». Будущее, о котором мечтал Белинский, настало. Всемирно-историческое значение нашего народа не подлежит сомнению. Не может подлежать сомнению и всемирно-историческое значение нашего величайшего национального поэта — Пушкина.

Советским исследователям удалось собрать большой материал, свидетельствующий о том, что творчество Пушкина почти с первых же шагов обратило на себя пристальное внимание в Западной Европе, что основные произведения Пушкина многократно переводились на другие языки, встречали традиционно-почтительную оценку рядовой критики и исключительно высокое, восторженное признание со стороны отдельных знатоков и ценителей, таких, как Проспер Мериме, Адам Мицкевич. Но, несмотря на все это, европейским «властителем дум», таким, какими были во время Пушкина Гёте и Байрон, какими стали в последней трети XIX — начале XX века Достоевский и Лев Толстой, Пушкин не был.

Поэтому устанавливать всемирное значение Пушкина при-

ходится, исходя не из свидетельств и оценок писателей и критиков Запада, а из реального значения пушкинского творчества в истории развития всей мировой литературы вообще.

Время Пушкина — первая треть XIX века. Это годы великих кризисов и переворотов и в жизни и в литературе. В мировой исторической жизни — французская революция, наполеоновские походы, в ряде стран Западной Европы крах феодализма, утверждение нового, буржуазного строя.

Соответственно этому и в литературе происходят острые столкновения и перевороты, смена основных крупнейших литературных направлений нового времени — классицизма и романтизма, становление реализма.

Русская литература после Петра проходила через те же стадии развития, через которые проходили западноевропейские литературы, но проходила их со значительным опозданием. Так, русский классицизм начал складываться только во второй трети XVIII века, лет восемьдесят спустя после французского. Однако русское литературное развитие быстро шло вперед. Ко времени Карамзина отставание русской литературы от развития литератур Западной Европы еще имело место, но расстояние между ними все уменьшалось. Еще больше сократилось оно в ранний период творческой деятельности Пушкина.

Первая южная «байроническая» поэма Пушкина была написана меньше чем через десять лет после появления «Паломничества Чайльд Гарольда» и первых восточных поэм Байрона. Но уже с 1823 года Пушкин пишет главы «Евгения Онегина» — первого произведения, которым он не только, говоря словами Добролюбова, совершил «открытие действительности» в русской литературе, но которое явилось и первым великим реалистическим «открытием действительности» во всей мировой литературе XIX века, в своем роде никогда и никем не превзойденным. Появлением первых глав «Онегина» датируется знаменательный момент перелома в отношении нашей литературы к литературам Запада.

Для сопоставления напомним, что первые признанные образцы европейского классического реализма, реалистические романы Стендаля и Бальзака, появились только почти десять лет спустя, в начале тридцатых годов, когда Пушкиным был не только полностью завершён весь «Евгений Онегин», но и написаны «Граф Нулин», «Домик в Коломне», «Повести Белкина».

Конечно, пушкинский «Евгений Онегин» вырос не в глухом углу мировой культуры, а на широком просторе общеевропейского литературного развития. В концепции образа «современного человека» — самого Онегина — Пушкину существенно помогли те «два-три романа, в которых отразился век и современный человек изображен довольно верно» (в черновиках «Онегина»

Пушкин прямо называет некоторые из них — «Адольф» Бенжамена Констана, «Рене» Шатобриана и др.).

Мы хорошо знаем, что современная поэту критика неоднократно мерила «роман в стихах» Пушкина байроновским «Дон-Жуаном», считая его подражанием последнему. Однако Пушкин, с самого начала признавая, что жанровым толчком к написанию «Онегина» послужил ему байроновский «Дон-Жуан» («пишу... роман в стихах... вроде «Дон-Жуана» — письмо к П. А. Вяземскому 4 ноября 1823 года), имел полное право решительно отклонить сближение с ним по существу. «Никто более меня не уважает — «Дон-Жуана» (первые 5 песен, других не читал), но в нем ничего нет общего с Онегиным», — писал Пушкин А. А. Бестужеву 24 марта 1825 года, когда у него уже были готовы три с лишним главы «Онегина». «Те, кто говорит, что поэма Пушкина «Онегин» есть «Дон-Жуан» русских нравов, — замечал четверть века спустя Герцен, — не понимают ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по внешности».

Действительно, в творчестве Байрона последних лет его жизни мы наблюдаем то же движение от романтизма к реализму, которое было характерно для европейских литератур того времени. Но «Евгений Онегин» обнаруживает не тенденции к реализму, а является завершенным и великолепным образцом нового, реалистического метода и стиля, и в этом своем качестве не только не следует за Байроном, а наоборот, противостоит его творчеству, представляя собой при известном внешнем сходстве новую ступень, на которую Пушкин возводит искусство слова. Проявившаяся с таким блеском в «Евгении Онегине» «поэзия действительности» становится основной сущностью всего последующего пушкинского творчества. Если Байрон был величайшим поэтом европейского революционного романтизма, то Пушкин явился — также в общеевропейском масштабе — величайшим представителем «поэзии действительности». В этом и заключается тот драгоценный вклад, который в его лице русская литература внесла в развитие литературы всемирной.

Прежде чем Пушкин стал поэтом действительности, он прошел в своем развитии все основные фазы европейской духовной жизни конца XVIII — начала XIX веков. Он вырос и воспитался на почве идей просветительной философии XVIII века (его юношеское увлечение Вольтером); позднее, говоря его собственными словами, он «с ума сходил» от поэзии Байрона. Поэтому в творческом развитии Пушкина с особенной наглядностью отразился процесс смены основных литературных направлений, завершившийся их блистательным синтезом.

Пушкин с первых же своих литературных шагов начал энергично бороться с классицизмом XVII—XVIII веков, сковываю-

щим творчество писателя сводом заранее заданных жестких «правил». Но он глубоко впитал в себя то, что было в классицизме наиболее ценного и значительного,— культ разума, связь с великими традициями античного искусства. В своем творчестве он воплотил лучшие заветы античности — ясность созерцания, почти геометрическую стройность композиции, чувство гармонии всех частей, предельную сжатость выражения — величайший художественный лаконизм. Это достигается отсутствием ненужных украшений, всего лишнего, малейшей риторики.

«Чистота и безыскусственность,— писал Гоголь о «Капитанской дочке»,— взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурною».

Очень важную роль в творческом развитии Пушкина сыграл романтизм, который сам он противопоставлял древнему, античному искусству в качестве искусства нового времени. Именно под знаменем романтизма, как его воинствующий представитель и глава, вошел Пушкин и в литературу, и в сознание современников. Именно вокруг пушкинского творчества разгорелись особенно ожесточенные бои русских «классиков» и «романтиков». Романтизм был овеян великим дыханием освобождения от гнета правил и канонов классической поэтики, дыханием творческой свободы. На первый план романтики выдвигали внутренний мир человека, живую, а не схематизированную человеческую личность. На их знаменах были написаны замечательные лозунги историзма и народности.

В своем движении к поэзии действительности Пушкин очень быстро прошел и через романтизм. Творческую свободу он умел гармонически сочетать с осознанным подчинением тем законам, которые сам над собой в том или ином случае принимал. Сосредоточенный только на себе, «безнадежно эгоистичный», по собственному его определению, индивидуализм романтиков был, по существу, всегда ему чужд. Но то новое и ценное, что живоносным дождем пролилось в движении европейского романтизма над бесплодной пустыней омертвевшего уже классицизма, могуче оплодотворило собой и пушкинское творчество.

Пушкин создал особый, специфический тип русского реализма, во многом существенно отличавшийся от реализма западноевропейского.

Критическое отношение к действительности, «великое разоблачение жизни», «срывание всех и всяческих масок» составляют сильнейшие стороны последующего русского реализма — реализма Гоголя, Тургенева, Достоевского, Льва Толстого. Но наряду с этим в русском реализме есть еще одна черта, особенно значительная и плодотворная.

Незадолго до смерти Пушкин писал: «Цель художества —

есть *идеал*». Заканчивая «Евгения Онегина», поэт, прощаясь со своими героями, обращался к ним: «Прости ж и ты, мой спутник странный, и ты, мой верный идеал». И в самом деле, наряду со «странным спутником» поэта — холодным, озлобленным, пресыщенным, скучающим, оторванным от народных корней и потому бесцельно влачащим свое существование Онегиным, в романе предстает перед нами «верный», «милый идеал» поэта — чудесный в своей утренней свежести, полноте нерастраченных сил, подлинно крылатый и вместе с тем правдивый и реальный образ, крепко связанный с родной народной почвой, — образ Татьяны. И сила образа Татьяны в том, что он не является только плодом авторского воображения, авторской фантазии, сколь бы возвышенна она ни была. Пушкин не навязывал действительности идеальный образ своей героини, а сумел увидеть его черты в самой жизни и в то же время, в качестве некоего идеала, высоко поставить над нею.

Соединение мечты и действительности, глубоко реальное изображение идеальных образов составляют одну из существеннейших особенностей пушкинского реализма.

Западноевропейских писателей особенно пленяла моральная чистота русского человека, как он дан в выдающихся произведениях русских писателей-реалистов, высота требований и запросов, предъявляемых им к жизни. «Для героев произведений Диккенса, — пишет австрийский писатель Стефан Цвейг, — венец всех желаний — уютный коттедж среди зелени и толпа резвящихся детишек». Для героев романов Бальзака — «замок, титул пэра, миллионы». «Кому из людей Достоевского нужно все это? Никому. Ни одному из них. Они ни в чем не хотят остановки, даже в счастье. Они хотят идти дальше, у всех них есть «высшее сердце», одержимое тревогой». Это «высшее сердце», этот «уголь», «пылающий огнем», вложены в русскую литературу Пушкиным.

Вспомним снова Татьяну. Скромная провинциальная девушка, Татьяна достигает в конце романа всего, к чему стремятся герои Бальзака, — знатности, богатства, светских успехов.

Но как она ко всему этому относится? Вспомним ее признание Онегину в финальной сцене романа:

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище...

Для Татьяны это сытое, довольное, вполне благополучное и вместе с тем праздное и пустое светское существование — лишь «ветошь маскарада». Пушкин находит здесь слово, которое определит отношение всех последующих русских писателей к паразитарным формам общественной жизни, основанным на насилии и эксплуатации. Недаром символическое заглавие «Маскарад» даст своей драме из жизни светского общества Лермонтов. С этого-то «маскарада» и будет срывать «все и всяческие маски» автор «Смерти Ивана Ильича» и «Воскресения» Лев Толстой.

Изумительно развилась, обогатилась созданиями, признанными во всем мире в качестве величайших шедевров, русская литература после Пушкина. Но и поныне он является, говоря словами Льва Толстого, «высшей точкой поэтической параболы», самым «гармоническим» из всех русских писателей. И гармоничность пушкинских художественных творений тем замечательнее, что она была глубоко выстрадана.

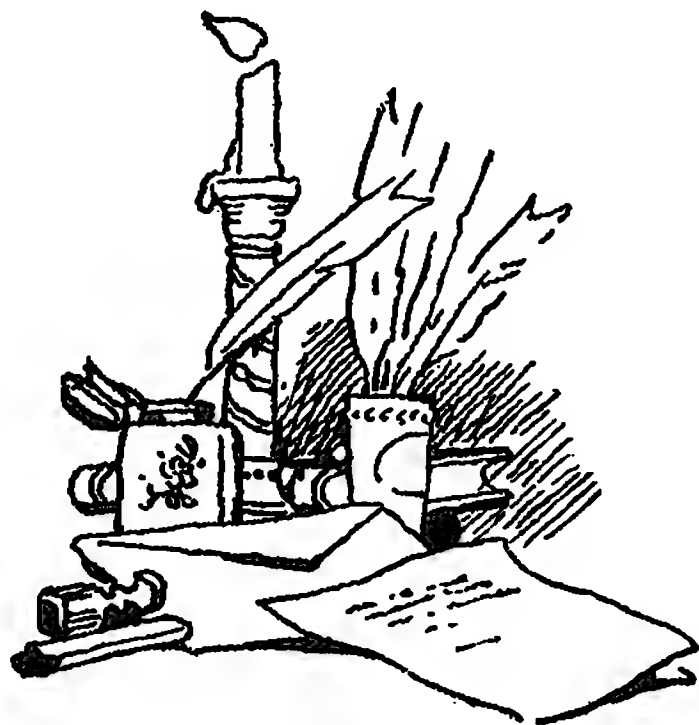
Пушкин, как человек и как поэт, изведал все те боли и недуги, которые являлись неизбежным уделом всякого широкообразованного, бесстрашно мыслящего и сильно чувствующего современного ему человека. В своей жизни ему пришлось пережить много тяжкого, сурового, порой прямо трагического. Не раз испытывал он жгучие минуты скорби, разочарований, отчаяния, глубокой неудовлетворенности собой, мучительной тоски. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть такие его лирические признания, как стихи на день рождения («Дар напрасный, дар случайный»), как «Воспоминание». Но над всем этим торжествовало неиссякаемое жизнелюбие поэта, его вера в человека, в народ, его, тоже выстраданный и тем более могучий, оптимизм.

И потому солнечное пушкинское творчество, это прекраснейшее из самых прекрасных явлений искусства слова, — не только источник величайших эстетических наслаждений. Это и целительный источник бодрости, силы, здоровья душевного, веры в торжество человеческого духа, в победу света и жизни над силами мрака. «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — повторяем мы вместе с Пушкиным, и это помогает нам и жить, и работать во имя торжества тех высоких идей, которыми в октябре 1917 года зажег наш народ, поднял его на штурм прогнившего старого мира горячо любивший Пушкина Ленин.

Димитрий Благой

Стихотворения





ЛИЦЕЙ. ПЕТЕРБУРГ

1817—1820

ПРОЩАНЬЕ

Промчались годы заточенья;
Недолго, милые друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас света дальний шум,
И всякий смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде
И греться ходит в караул;
Иной, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным шутком зрит себя;
Лишь я, во всем судьбе послушный,

Беспечной лени верный сын,
К честям ничтожным равнодушный,
Я тихо задремал один.
Равны мне писари, уланы,
Равны наказ и кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора;
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.

ВОЛЬНОСТЬ

О д а

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений

Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
Я твой: я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой: люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,

На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты;
Везде следы довольства и труда...

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе

И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца — в величии неправом.
Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!

В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас.
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:

Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,

Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

НА ЮГЕ

1820—1824

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминая упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,

Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златые,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

* * *

Редет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижину сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

МУЗА

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.

Она внимала мне с улыбкой — и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

КИНЖАЛ

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Ты Кесаря сразил — и, мертв, объемлет он
Помпея мрамор горделивый.

Исчадь мятежей подымлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.

Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях прошедший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могилой засыплюсь землею?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня».

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы...
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могущему дан.

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод и сеча ему ничего...
Но примешь ты смерть от коня своего».

Олег усмехнулся — однако чело
И взор омрачились думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время;
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся — да помни меня.
Вы, отроки-друзи, возьмите коня,

Покройте попоной, мохнатым ковром;
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте; кормите отборным зерном;
Водой ключевою поите».
И отроки тотчас с конем отошли,
А князю другого коня подвели.

Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

«А где мой товарищ? — промолвил Олег,—
Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? все так же ль лёгók его бег?
Все тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.

Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят — на холме, у берега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.

Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокой!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змия
Шипя между тем выползала;
Как черная лента, вокруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у берега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

ПТИЧКА

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

* * *

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную
Дремотой лени усыпил?
Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разружьте губельный оплот!
Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

ДЕМОН

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветой
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

* * *

Изыде сеятель сеяти семена своя.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

В МИХАЙЛОВСКОМ

1824—1826

К ЯЗЫКОВУ

(Михайловское, 1824)

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе.
Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой,
И возвратился б, оживленный
Картиной беззаботных дней,
Беседой вольно-вдохновенной
И звучной лирою твоей.
Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.—
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.
Услышь, поэт, мое призванье,
Моих надежд не обмани.
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой арап,
Где, позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденные леты
О дальней Африке своей,—
Я жду тебя. Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше
Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою;

И муз возвышенный пророк,
Наш Дельвиг всё для нас оставит,
И наша троица прославит
Изгнанья темный уголок.
Надзор обманем караульный,
Восхвалим вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры,
Вниманье дружное преклоним
Ко звону рюмок и стихов
И скуку зимних вечеров
Вином и песнями прогоним.

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

Книгопродавец

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова,
Плод новый умственных затей.
Итак, решите; жду я слова:
Назначьте сами цену ей.
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим...
О чем вздохнули так глубоко,
Нельзя ль узнать?

Поэт

Я был далеко;
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной

В часы ночного вдохновенья!..
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы молодой
Хранит любовник суеверный.

К н и г о п р о д а в е ц

Но слава заменила вам
Мечтанья тайного отрады:
Вы разошлись по рукам,
Меж тем как пыльные громады
Лежалой прозы и стихов
Напрасно ждут себе чтецов
И ветреной ее награды.

П о э т

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт

И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
Обманчивей и снов надежды,
Что слава? шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;
Жуковский то же говорил;
Но свет узнал и раскупил
Их сладкозвучные творенья.
И впрям, завиден ваш удел:
Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальном поражает;
Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;
Но сердце женщин славы просит:
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона:
В молодые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

Поэт

Самолюбивые мечты,
Утехи юности безумной!
И я, средь бури жизни шумной,
Искал вниманья красоты.
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...
Но полно! в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы.
Что мне до них? Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Не чисто в них воображение:
Не понимает нас оно,

И, признак бога, вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идиолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?..

Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!
Причины ваших огорчений
Мне знать нельзя; но исключений
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы?

Поэт

Зачем поэту

Тревожить сердца тяжкий сон?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? какое дело свету?
Я всем чужой!.. Душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?
.....

И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой

Толпою снова возмутить!..
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей!..

Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,
Наскуча лепетом молвы,
Заране отказались вы
От вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной:
Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? — Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье;
Но вас я знаю, господа:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы;
Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:

Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И признаюсь — от вашей лиры
Предвижу много я добра.

П о э т

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзвѣвы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещение иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

КОВАРНОСТЬ

Когда твой друг на глас твоих речей
Отвечает язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою,—
Не говори: «Он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «Неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон»...
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затаенно явил
Пугливое его воображение
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Всё тайное своим печальным взором,—
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль
Меня кропит росой хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальней;
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

К***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

ЖЕНИХ

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала;
Она на двор на третью ночь
Без памяти вбежала.
С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступать.
Наташа их не слышит,
Дрожит и еле дышит.

Тужила мать, тужил отец,
И долго приступали,
И отступились наконец,
А тайны не узнали.
Наташа стала, как была,
Опять румяна, весела,
Опять пошла с сестрами
Сидеть за воротами.

Раз у тесовых у ворот,
С подружками своими,
Сидела девица — и вот
Промчалась перед ними
Лихая тройка с молодцом.
Конями, крытыми ковром,
В санях он стоя правит,
И гонит всех, и давит.

Он, поровнявшись, поглядел,
Наташа поглядела,
Он вихрем мимо пролетел,
Наташа помертвела.
Стремглав домой она бежит.
«Он! он! узнала! — говорит, —
Он, точно он! держите,
Друзья мои, спасите!»

Печально слушает семья,
Качая головою;
Отец ей: «Милая моя,
Откройся предо мною.
Обидел кто тебя, скажи,
Хоть только след нам укажи».
Наташа плачет снова.
И более ни слова.

Наутро сваха к ним на двор
Нежданная приходит.
Наташу хвалит, разговор
С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец;
Собою парень молодец,
И статный, и проворный,
Не вздорный, не зазорный.

Богат, умен, ни перед кем
Не кланяется в пояс,
А как боярин между тем
Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
И перстни золотые,
И платья парчевые.

Катаясь, видел он вчера
Ее за воротами;
Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом,
Да речь ведет обиняком,
А бедная невеста
Себе не видит места.

«Согласен,— говорит отец,—
Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец:
Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не все касатке распевать,
Пора гнездо устроить,
Чтоб детушек покоить».

Наташа к стенке уперлась
И слово молвить хочет —
Вдруг зарыдала, затряслась,
И плачет и хохочет.
В смятенье сваха к ней бежит,
Водой студеною поит
И льет остаток чаши
На голову Наташи.

Крушится, охает семья.
Опомнилась Наташа

И говорит: «Послушна я,
Святая воля ваша.
Зовите жениха на пир,
Пеките хлебы на весь мир,
На славу мед варите,
Да суд на пир зовите».

«Изволь, Наташа, ангел мой!
Готов тебе в забаву
Я жизнь отдать!» — И пир горой;
Пекут, варят на славу.
Вот гости честные нашли,
За стол невесту повели;
Поют подружки, плачут,
А вот и сани скачут.
Вот и жених — и все за стол.
Звенят, гремят стаканы,
Заздравный ковш кругом пошел;
Все шумно, гости пьяны.

Ж е н и х

«А что же, милые друзья,
Невеста красная моя
Не пьет, не ест, не служит:
О чем невеста тужит?»
Невеста жениху в ответ:
«Откроюсь наудачу.
Душе моей покоя нет,
И день и ночь я плачу:
Недобрый сон меня крушит».
Отец ей: «Что ж твой сон гласит?
Скажи нам, что такое,
Дитя мое родное?»

«Мне снилось, — говорит она, —
Зашла я в лес дремучий,
И было поздно; чуть луна
Светила из-за тучи;
С тропинки сбилась я: в глуши
Не слышно было ни души,
И сосны лишь да ели
Вершинами шумели.

И вдруг, как будто наяву,
Изба передо мною.
Я к ней, стучу — молчат. Зову —

Ответа нет; с мольбою
Дверь отворила я. Вхожу —
В избе свеча горит; гляжу —
Везде серебро да золото,
Все светло и богато».

Ж е н и х

«А чем же худ, скажи, твой сон?
Знать, жить тебе богато».

Н е в е с т а

«Постой, сударь, не кончен он.
На серебро, на золото,
На сукна, коврики, парчу,
На новгородскую камчу
Я молча любовалась
И диву дивовалась.

Вдруг слышу крик и конский топ...
Подъехали к крылечку.
Я поскорее дверью хлоп
И спряталась за печку.
Вот слышу много голосов...
Взошли двенадцать молодцов,
И с ними голубица
Красавица девица.

Взошли толпой, не поклонясь,
Икон не замечая;
За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая.
На первом месте брат большой,
По праву руку брат меньшей,
По леву голубица
Красавица девица.

Крик, хохот, песни, шум и звон,
Разгульное похмелье...»

Ж е н и х

«А чем же худ, скажи, твой сон?
Вещает он веселье».

Н е в е с т а

«Постой, сударь, не кончен он.
Идет похмелье, гром и звон,

Пир весело бушует,
Лишь девица горюет.
Сидит, молчит, ни ест, ни пьет
И током слезы точит,
А старший брат свой нож берет,
Присвистывая точит;
Глядит на девицу-красу
И вдруг хватает за косу,
Злодей девицу губит,
Ей праву руку рубит».

«Ну это,— говорит жених,—
Прямая небылица!
Но не тужи, твой сон не лих,
Поверь, душа-девица».
Она глядит ему в лицо.
«А это с чьей руки кольцо?» —
Вдруг молвила невеста,
И все привстали с места.

Кольцо катится и звенит,
Жених дрожит бледнея;
Смутились гости.— Суд гласит:
«Держи, вязать злодея!»
Злодей окован, обличен,
И скоро смертию казнен.
Прославилась Наташа!
И вся тут песня наша.

* * *

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

19 ОКТЯБРЯ

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?

Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лица превратил.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев.
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!

Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О сколько слез и сколько восклицаний
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Полней, полней! и, сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправоe гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редее;
Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас под старость день лица
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! среди новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,

Закрыв глаза дрожащею рукой...
Пускай же он с отрадой, хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

БУРЯ

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

* * *

Как по Волге-реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.
Не глядит Стенька Разин на царевну,
А глядит на матушку на Волгу.
Как промолвит грозен Стенька Разин:
«Ой ты гой еси, Волга, мать родная!
С глупых лет меня ты воспоила,
В долгу ночь баюкала, качала,
В волновую погоду выносила,
За меня ли молодца не дремала,
Казаков моих добром наделила.
Что ничем тебя еще мы не дарили».
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,
Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу,
Волге-матушке ею поклонился.

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,—
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,—
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

ПОСЛЕ ССЫЛКИ

1826—1830

И. И. ПУЩИНУ

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

СТАНСЫ

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

* * *

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

Несчастьем верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

* * *

В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

АРИОН

Нас было много на челне;
Иные парус натягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн, —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

АНГЕЛ

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости,— он рек,— тебя я видел,
И ты не даром мне сиял:
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал».

ПОЭТ

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

19 ОКТЯБРЯ 1827

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

ДРУЗЬЯМ

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя назовет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещения плод —
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змей сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

ТЫ И ВЫ

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как *вы* милы!
И мыслю: как *тебя* люблю!

26 мая 1828

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомнением взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь — и при луне
Черты далекой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: *прости*,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

УТОПЛЕННИК

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
«Врите, врите, бесенята,—
Заворчал на них отец; —
Ох, уж эти мне робята!
Будет вам ужо мертвец!»

Суд наедет, отвечай-ка;
С ним я ввек не разберусь;
Делать нечего; хозяйка,
Дай кафтан: уж поплетусь...

Где ж мертвец?» — «Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух,
Рыболов ли взят волнами,
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купец?

Мужику какое дело?
Озираясь, он спешит;
Он потопленное тело
В воду за ноги тащит.
И от берега крутого
Оттолкнул его веслом,
И мертвец вниз поплыл снова
За могилой и крестом.

Долго мертвый меж волнами
Плыл качаясь, как живой;
Проводив его глазами,
Наш мужик пошел домой.
«Вы, щенки! за мной ступайте!
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу».

В ночь погода зашумела,
Взволновалась река,
Уж лучина догорела
В дымной хате мужика,
Дети спят, хозяйка дремлет,
На полатах муж лежит,
Буря воет; вдруг он внемлет:
Кто-то там в окно стучит.

«Кто там?» — «Эй,пусти, хозяин!» —
«Ну,какая там беда?
Что ты ночью бродишь, Каин?
Черт занес тебя сюда;
Где возиться мне с тобою?

Дома тесно и темно».
И ленивою рукою
Подымает он окно.

Из-за туч луна катится —
Что же? голый перед ним:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим,
Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черны́е впились.

И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав,
Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!»
Прошептал он, задрожав.
Страшно мысли в нем мешались,
Трясся ночь он напролет,
И до утра всё стучались
Под окном и у ворот.

Есть в народе слух ужасный:
Говорят, что каждый год
С той поры мужик несчастный
В день урочный гостя ждет;
Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот.

* * *

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракистой
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,

Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого,
Не убитого, живого.

* * *

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

АНЧАР¹

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,

¹ Древо яда. (Прим. А. С. Пушкина.)

С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом;
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листьями,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

ЦВЕТОК

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

ПОЭТ И ТОЛПА

Procul este, profani¹

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

Поэт

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Чернь

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй:
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;

¹ Прочь, непосвященные (лат.).

Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы слушаем тебя.

Поэт

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношение,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

ПРИМЕТЫ

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
 Шумит Арагва предо мною.
 Мне грустно и легко; печаль моя светла;
 Печаль моя полна тобою,
 Тобой, одной тобой... Унынья моего
 Ничто не мучит, не тревожит,
 И сердце вновь горит и любит — оттого,
 Что не любить оно не может.

КАЛМЫЧКЕ

Прощай, любезная калмычка!
 Чуть-чуть, назло моих затей,
 Меня похвальная привычка
 Не увлекла среди степей
 Вслед за кибиткою твоей.
 Твои глаза, конечно, узки,
 И плосок нос, и лоб широк,
 Ты не лепечешь по-французски,
 Ты шелком не сжимаешь ног,
 По-английски пред самоваром
 Узором хлеба не крошишь,
 Не восхищаешься Сен-Маром,
 Слегка Шекспира не ценишь,
 Не погружаешься в мечтанье,
 Когда нет мысли в голове,
 Не распеваешь: Ma dov'è,
 Галоп не прыгаешь в собрание...
 Что нужды? — Ровно полчаса,
 Пока коней мне запрягали,
 Мне ум и сердце занимали
 Твой взор и дикая краса.
 Друзья! не все ль одно и то же:
 Забыться праздною душой
 В блестящей зале, в модной ложе
 Или в кибитке кочевой?

(2 ноября)

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?
Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
И рысью по полю при первом свете дня;
Арапники в руках, собаки вслед за нами;
Глядим на бледный снег прилежными глазами;
Кружимся, рыскаем и поздней уж порой,
Двух зайцев протравив, являемся домой.
Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет;
Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет;
По капле, медленно глотаю скуки яд.
Читать хочу; глаза над буквами скользят,
А мысли далеко... Я книгу закрываю;
Беру перо, сижу; насильно вырываю
У музыки дремлющей несвязные слова.
Ко звуку звук нейдет... Теряю все права
Над рифмой, над моей прислужницею странной:
Стих вяло тянется, холодный и туманный.
Усталый, с лирою я прекращаю спор,
Иду в гостиную; там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе;
Хозяйка хмурится в подобие погоде,
Стальными спицами проворно шевеля,
Иль про червонного гадает короля.
Тоска! Так день за днем идет в уединенье!
Но если под вечер в печальное селенье,
Когда за шашками сижу я в уголке,
Приедет издали в кибитке иль возке
Нежданная семья: старушка, две девицы
(Две белокурые, две стройные сестрицы),—
Как оживляется глухая сторона!
Как жизнь, о боже мой, становится полна!
Сначала косвенно-внимательные взоры,
Потом слов несколько, потом и разговоры,
А там и дружный смех, и песни вечерком,
И вальсы резвые, и шепот за столом,
И взоры томные, и ветреные речи,
На узкой лестнице замедленные встречи;

И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

* * *

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

* * *

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движение.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых берегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

ОБВАЛ

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,

И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.

Вдруг, истощась и присмирив,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои берега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудой лежал,
И Терек злой под ним бежал
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.

ДЕЛИБАШ

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш! не суйся к лаве,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.

Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

К БЮСТУ ЗАВОЕВАТЕЛЯ

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на холодный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

* * *

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

МАДОНА

Не множеством картин старинных мастеров
Украстить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

В простом углу моем, среди медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —

Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

БЕСЫ

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вот — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вон уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслись;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собрались
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

ТРУД

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

ПРОЩАНИЕ

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,
Меня всё, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.

* * *

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?

Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.

Что ж ты нахмурился? — Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить? —

Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин
Мне здесь не прогулять.

— Пстой, а карантин!

Ведь в нашей стороне индейская зараза.
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,
Бывало, сиживал покорный твой слуга;
Что, брат? уж не трунишь, тоска берет — ага!

ОТРОК

Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...

Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

ГЕРОЙ

Что есть истина?

Д р у г

Да, слава в прихотях вольна.
Как огненный язык, она
По избранным главам летает,
С одной сегодня исчезает
И на другой уже видна.
За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык;
Но нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык.
На троне, на кровавом поле,
Меж граждан на чреде иной
Из сих избранных кто всех боле
Твоею властвует душой?

П о э т

Все он, все он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирились цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Д р у г

Когда ж твой ум он поражает
Своею чудною звездой?
Тогда ль, как с Альпов он взирает
На дно Италии святой;
Тогда ли, как хватает знамя
Иль жезл диктаторский; тогда ль,
Как водит и кругом и вдаль
Войны стремительное пламя,
И пролетает ряд побед
Над ним одна другой вослед;

Тогда ль, как рать героя плещет
Перед громадой пирамид,
Иль как Москва пустынно блещет,
Его приемля,— и молчит?

Поэт

Нет, не у счастья на лоне
Его я вижу, не в бою,
Не зятем кесаря на троне,
Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим,
Плащом закрывшись боевым.
Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней... он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...

Друг

Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас!
Увы! его раздался глас ¹,—
И где ж очарованье света!

Поэт

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!

¹ Mémoires de Bourrienne <Воспоминания Бурьена>. (Прим. А. С. Пушкина.)

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

Д р у г

Утешься

29 сентября 1830

Москва

НА ПЕРЕВОД ИЛИАДЫ

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

* * *

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья,
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не ассессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рождением знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князя не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудренных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Смирив крамолу и коварство
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили,
Нас жаловал страдальца сын.
Бывало, нами дорожили;
Бывало... но — я мещанин.

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин.
Счастлив князь Яков Долгорукой,
Умен покорный мещанин.

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин.

Post-scriptum

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин

Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?.. он в Мещанской дворянин.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

1831—1836

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постели,
Не в силах завинтить свой измайльский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

ЭХО

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внимлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

* * *

Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш

В своем беселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш
И наши песни тем грустнее.

Так дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались,
И мы средь пиршеств молодых
Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.
Шесть мест упрáздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле,
Они разбросанные спят —
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший гений.

Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим,
Надеждой некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.

ГУСАР

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
«Занес же вражий дух меня
На распроклятую квартиру!

Здесь человека берегут,
Как на турецкой перестрелке,
Насилу шей пустых дадут,
А уж не думай о горелке.

Здесь на тебя как лютый зверь
Глядит хозяин, а с хозяйкой...
Небось не выманишь за дверь
Ее ни честью, ни нагайкой.

То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином — хоть пару поддавай,
А молодицы-молoduшки!

Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки чернoбpивой.
Одним, одним не хороши...»
— А чем же? Расскажи, служивый.

Он стал крутить свой длинный ус
И начал: «Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.

Ну, слушай: около Днепра
Стоял наш полк; моя хозяйка
Была пригожа и добра,
А муж-то помер, замечай-ка!

Вот с ней и подружился я;
Живем согласно, так что любо:
Прибью — Марусенька моя
Словечка не промолвит грубо;

Напьюсь — уложит, и сама
Опохмелиться приготовит;
Мигну, бывало: «Эй, кума!» —
Кума ни в чем не прекословит.

Кажись: о чем бы горевать?
Живи в довольстве, безобидно;
Да нет: я вздумал ревновать.
Что делать? враг попутал, видно.

Зачем бы ей, стал думать я,
Вставать до петухов? кто просит?

Шалит Марусенька моя;
Куда ее лукавый носит?

Я стал присматривать за ней.
Раз я лежу, глаза прищуря,
(А ночь была тюрьмы черней,
И на дворе шумела буря),

И слышу: кумушка моя
С печи тихохонько прыгнула,
Слегка обшарила меня,
Присела к печке, уголь вздула

И свечку тонкую зажгла,
Да в уголок пошла со свечкой,
Там с полки скляночку взяла
И, сев на веник перед печкой,

Разделась донага; потом
Из склянки три раза хлебнула,
И вдруг на венике верхом
Взвилась в трубу — и улизнула.

Эге! смекнул в минуту я:
Кума-то, видно, басурманка!
Постой, голубушка моя!..
И с печки слез — и вижу: склянка.

Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань,
И оба в печь. Я вижу: худо!

Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.

Я ну кропить во все углы
С плеча, во что уж ни попало;
И всё: горшки, скамьи, столы,
Марш! марш! все в печку поскакало.

Кой черт! подумал я: теперь
И мы попробуем! и духом
Всю склянку выпил; верь не верь —
Но кверху вдруг взвился я пухом.

Стремглав лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встречным звездочкам кричу:
Правей!.. и наземь упадаю.

Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают.

Я плюнул и сказать хотел...
И вдруг бежит моя Маруся:
Домой! кто звал тебя, пострел?
Тебя съедят! Но я, не струся:

Домой? да! черта с два! почему
Мне знать дорогу? — Ах, он странный!
Вот кочерга, садись верхом
И убирайся, окаянный.

— Чтоб я, я сел на кочергу,
Гусар присяжный! Ах ты, дура!
Или предался я врагу?
Иль у тебя двойная шкура?

Коня! — На, дурень, вот и конь.—
И точно: конь передо мною,
Скребет копытом, весь огонь,
Дугою шея, хвост трубою.

— Садись.— Вот сел я на коня,
Ищу уздечки,— нет уздечки.
Как взвился, как понес меня —
И очутились мы у печки.

Гляжу: всё так же; сам же я
Сижу верхом, и подо мною
Не конь — а старая скамья:
Вот что случается порою».

И стал крутить он длинный ус,
Прибавя: «Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды».

Сват Иван, как пить мы станем,
 Непременно уж помянем
 Трех Матрен, Луку с Петром
 Да Пахомовну потом.
 Мы живали с ними дружно,
 Уж как хочешь — будь что будь —
 Этих надо помянуть,
 Помянуть нам этих нужно.
 Поминать так поминать,
 Начинать так начинать,
 Лить так лить, разлив разливом.
 Начинай-ка, сват, пора.
 Трех Матрен, Луку, Петра
 В первый раз помянем пивом,
 А Пахомовну потом
 Пирогам да вином,
 Да еще ее помянем:
 Сказки сказывать мы станем —
 Мастерница ведь была
 И откуда что брала.
 А куды разумны шутки,
 Приговорки, прибаутки,
 Небылицы, былины
 Православной старины!..
 Слушать, так душе отрадно.
 И не пил бы и не ел,
 Всё бы слушал да сидел.
 Кто придумал их так ладно?
 Стариков когда-нибудь
 (Жаль, теперь нам не досужно)
 Надо будет помянуть —
 Помянуть и этих нужно...
 Слушай, сват, начну первой,
 Сказка будет за тобой.

БУДРЫС И ЕГО СЫНОВЬЯ

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
 Он пришел толковать с молодцами.
 «Дети! седла чините, лошадей проводите,
 Да точите мечи с бердышами.

Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз идет на поляков, а Ольгерд на пруссаков,
А на русских Кестут воевода.

Люди вы молодые, силачи удалые
(Да хранят вас литовские боги!),
Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу;
Трое вас, вот и три вам дороги.

Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах;
Домы полны; богат их обычай.

А другой от пруссаков, от проклятых крыжаков,
Может много достать дорогого,
Денег с целого света, сукон яркого цвета;
Янтаря — что песку там морского.

Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха;
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но уж верно оттуда
Привезет он мне на дом невестку.

Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела — что котенок у печки —
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся будто две свечки!

Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку».

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Ждет, пождет их старик домовитый,
Дни за днями проводит, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж, видно, убиты!

Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?»
«Нет, отец мой; полячка молодая».

Снег пушистый валится; всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.

«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?»
«Нет, отец мой; полячка молодая».

Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопчет и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.

ВОЕВОДА

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.

И, мрачнее черной ночи,
Он потупил грозны очи,
Стал крутить свой сивый ус...
Рукава назад закинул,
Вышел вон, замок задвинул;
«Гей, ты, кликнул, чертов кус!

А зачем нет у забора
Ни собаки, ни затвора?
Я вас, хамы!.. Дай ружье;
Приготовь мешок, веревку
Да сними с гвоздя винтовку.
Ну, за мною!.. Я ж ее!»

Пан и хлопец под забором
Тихим крадутся дозором,
Входят в сад — и сквозь ветвей,
На скамейке у фонтана,
В белом платье, видят, панна,
И мужчина перед ней.

Говорит он: «Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье...
Воевода всё купил.

Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я!
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он,
И ему ты отдалась.

Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья,
И потом навек бежать».

Панна плачет и тоскует,
Он колени ей целует,
А сквозь ветви те глядят,
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили,
Вбили шомполом заряд.

Подступили осторожно.
«Пан мой, целить мне не можно,—
Бедный хлопец прошептал: —
Ветер, что ли, плачут очи,
Дрожь берет; в руках нет мочи,
Порох в полку не попал».

«Тише ты, гайдучье племя!
Будешь плакать, дай мне время!
Сыпь на полку... Наводи...
Цель ей в лоб. Левее... выше.
С паном справлюсь сам. Потихе;
Прежде я; ты погоди».

Выстрел по саду раздался.
Хлопец пана не дождался;
Воевода закричал,
Воевода пошатнулся...
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.

ОСЕНЬ

(Отрывок)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

Д е р ж а в и н

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны,
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под сободем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;

Лишь как бы напоить да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь;
Чредой слетает сон, чредой находит голод;



Мороз и солнце; день чудесный!
(«Зимнее утро»)

Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривой, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю.
Иль думы долгие в душе моей питаю.

X

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просят к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет. Куда ж нам плыть? . . .
.
.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
 Летят за днями дни, и каждый час уносит
 Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
 Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
 На свете счастья нет, но есть покой и воля.
 Давно завидная мечтается мне доля —
 Давно, усталый раб, замыслил я побег
 В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

ПЕСНЯ О ГЕОРГИИ ЧЕРНОМ

Не два волка в овраге грызутся,
 Отец с сыном в пещере бранятся.
 Старый Петро сына укоряет:
 «Бунтовщик ты, злодей проклятый!
 Не боишься ты господа бога,
 Где тебе с султаном тягаться,
 Воевать с белградским пашою!
 Аль о двух головах ты родился?
 Пропадай ты себе, окаянный,
 Да зачем ты всю Сербию губишь?»
 Отвечает Георгий угрюмо:
 «Из ума, старик, видно, выжил,
 Коли лаешь безумные речи».
 Старый Петро пуще осердился,
 Пуще он бранится, бушует.
 Хочет он отправиться в Белград,
 Туркам выдать послушного сына,
 Объявить убежище сербов.
 Он из темной пещеры выходит;
 Георгий старика догоняет:
 «Воротися, отец, воротися!
 Отпусти мне невольное слово».
 Старый Петро не слушает, грозитя:
 «Вот ужо, разбойник, тебе будет!»
 Сын ему вперед забегаает,
 Старику кланяется в ноги.
 Не взглянул на сына старый Петро.
 Догоняет вновь его Георгий
 И хватает за сивую косу.
 «Воротись, ради господа бога:
 Не введи ты меня в искушенье!»

Отпихнул старик его сердито
И пошел по белградской дороге.
Горько, горько Георгий заплакал,
Пистолет из-за пояса вынул,
Взвел курок, да и выстрелил тут же.
Закричал Петро, зашатавшись:
«Помоги мне, Георгий, я ранен!»
И упал на дорогу бездыханен.
Сын бегом в пещеру воротился;
Его мать вышла ему навстречу.
«Что, Георгий, куда делся Петро?»
Отвечает Георгий сурово:
«За обедом старик пьян напился
И заснул на белградской дороге».
Догадалась она, завопила:
«Будь же богом проклят ты, черный,
Коль убил ты отца родного!»
С той поры Георгий Петрович
У людей прозывается Черный.

К О Н Ъ

«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удиц?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремяна?»

Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красне и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы

С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока».

* * *

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;
К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.

ПОЛКОВОДЕЦ

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистью свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот,— а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой...

Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда останавлиюсь пред ним — и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье,—
Но Доу дал ему такое выражение.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был непоколебим пред общим заблужденьем;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманый глубоко,—
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист слышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти,—
Вотще! —

.
.

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиление!

ТУЧА

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облежала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки деревьев,
Тебя с успокоенных гонит небес.

* * *

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечер еще бродил
Я в этих рощах.

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моею.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, вспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив золотых и пажитей зеленых
Оно, синяя, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По берегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними

Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь молодая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему все пусто.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит.

ПИР ПЕТРА ПЕРВОГО

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Что пирует царь великий
В Питербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу деда
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром?

Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Оттого-то шум и клики
В Питербурге-городке,
И пальба и гром музыки
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
 К нему не зарастет народная тропа,
 Вознесся выше он главою непокорной
 Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
 Мой прах переживет и тленья убежит —
 И славен буду я, доколь в подлунном мире
 Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
 И назовет меня всяк сущий в ней язык,
 И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
 Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я Свободу
 И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
 Обиды не страшась, не требуя венца,
 Хвалу и клевету приемли равнодушно
 И не оспаривай глупца.

¹ Я воздвиг памятник (лат.) (Гораций).





ЭПИГРАММЫ

* * *

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Не подражателям холодным,
Не переводчикам голодным,
Не безответным рифмачам
Готовлю язвы эпиграмм!
Мир вам, несчастные поэты,
Мир вам, журнальные клеветы,
Мир вам, смиренные глупцы!
А вы, ребята подлецы,—
Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда!
Но если же кого забуду,
Прошу напомнить, господа!
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять,
Неизгладимую печать!

1825

НА КАРАМЗИНА

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

1818

НА СТУРДЗУ

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.

1819

* * *

Как брань тебе не надоела?
Расчет короток мой с тобой:
Ну, так! я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой.

1820

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

Внимает он привычным ухом
Свист;
Марает он единым духом
Лист;
Потом всему терзает свету
Слух;
Потом печатает — и в Лету
Бух!

1821

* * *

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

1824

* * *

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюнею бешеной собаки.

1824

* * *

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь, Риэго, был удушен.
«Я очень рад,— сказал усердный льстец,—
От одного мерзавца мир избавлен».
Все смолкнули, все потупили взор,
Всех рассмешил проворный приговор.
Риэго был пред Фердинандом грешен,
Согласен я. Но он за то повешен.
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться нам над жертвой палача?
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

1825

ПРИЯТЕЛЯМ

Враги мои, покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

1825

EX UNGUE LEONEM¹

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;

¹ По когтям льва (узнают) (лат.).

Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

1825

* * *

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он ассессор
По части иностранных дел!

1820—1826

* * *

Нет ни в чем вам благодати;
С счастьем у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.

1820—1826

ЭПИГРАММА

(Из Антологии)

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

1827

САПОЖНИК

(П р и т ч а)

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.

Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не выше сапога!»

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

1829

ЭПИГРАММА

Мальчишка Фебу гимн поднес.
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?» —
«Пятнадцать». — «Только-то? Эй, розгу!»
За сим принес семинарист
Тетрадь лакейских диссертаций,
И Фебу вслух прочел Гораций,
Кусая губы, первый лист.
Отяжелев, как от дурмана,
Сердито Феб его прервал
И тотчас взрослого болвана
Поставить в палки приказал.

1829

ЭПИГРАММА

Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.

1830



Поэмы





ЦЫГАНЫ

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Все живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недалкий,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,

И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно все, луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.
В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальнее глядит,
Ночным подернутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле.
Она привыкла к резвой воле,
Она придет; но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далеких облака,—
Земфиры нет как нет; и стынет
Убогий ужин старика.

Но вот она. За нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
«Отец мой,— дева говорит,—
Веду я гостя; за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.
Он хочет быть как мы цыганом;
Его преследует закон.
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко — он
Готов идти за мною всюду».

Старик

Я рад. Остаься до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш — привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле —
А завтра с утренней зарей
В одной телеге мы поедем;
Примись за промысел любой:
Железо куй иль песни пой
И селы обходи с медведем.

А л е к о
Я остаюсь.

З е м ф и р а

Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашел; поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит...

Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира: солнце всходит,
Проснись, мой гость! пора, пора!..
Оставьте, дети, ложе неги!..»
И с шумом высыпал народ;
Шатры разобраны; телеги
Готовы двинуться в поход.
Все вместе тронулось — и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волюнки говор, скрип телег,
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной!

Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;

Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет —
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.

Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальняя звезда;
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;
Но он беспечно под грозою
И в ведро ясное дремал.
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди!

Земфира

Скажи, мой друг: ты не жалеешь
О том, что бросил навсегда?

Алеко

Что ж бросил я?

Земфира

Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.

Алеко

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волнение,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Земфира

Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры,
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!..

Алеко

Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий.
А девы... Как ты лучше их
И без нарядов дорогих,
Без жемчугов, без ожерелий!
Не изменись, мой нежный друг!
А я... одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье!

С т а р и к

Ты любишь нас, хоть и рожден
Среди богатого народа.
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.
Меж нами есть одно преданье:
Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнание.
(Я прежде знал, но позабыл
Его мудреное прозвание.)
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной —
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный —
И полюбили все его,
И жил он на берегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя;
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети;
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он иссохший, бледный,
Он говорил, что гневный бог
Его карал за преступленье...
Он ждал: придет ли избавленье.
И все несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальний град вспоминая,
И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей земли
Не успокоенные гости!

А л е к о

Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!..
Певец любви, певец богов,

Скажи мне, что такое слава?
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий?
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?

Прошло два лета. Так же бродят
Цыганы мирною толпой;
Везде по-прежнему находят
Гостеприимство и покой.
Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен, как они;
Он без забот и сожаленья
Ведет кочующие дни.
Все тот же он; семья все та же;
Он, прежних лет не помня даже,
К бытию цыганскому привык.
Он любит их ночлегов сени,
И упоенье вечной лени,
И бедный, звучный их язык.
Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
В селеньях, вдоль степной дороги,
Близ молдаванского двора
Перед толпою осторожной
И тяжело пляшет, и ревет,
И цепь докучную грызет;
На посох опершись дорожный,
Старик лениво в бубны бьет,
Алеко с пенъем зверя водит,
Земфира поселян обходит
И дань их вольную берет.
Настанет ночь; они все трое
Варят нежатое пшено;
Старик уснул — и всё в покое...
В шатре и тихо и темно.

Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

Земфира

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:

Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

А л е к о

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

З е м ф и р а

Не любишь? мне какое дело!
Я песню для себя пою.

Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.

Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

Как ласкала его
Я в ночной тишине!
Как смеялись тогда
Мы твоей седине!

А л е к о

Молчи, Земфира! я доволен...

З е м ф и р а

Так понял песню ты мою?

А л е к о

Земфира!

З е м ф и р а

Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою.

Уходит и поет: Старый муж и проч.

С т а р и к

Так, помню, помню — песня эта
Во время наше сложена.
Уже давно в забаву света
Поется меж людей она.
Кочуя на степях Кагула,
Ее, бывало, в зимнюю ночь
Моя певала Мариула,
Перед огнем качая дочь.
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней;
Но заронилась песня эта
Глубоко в памяти моей.

Все тихо; ночь. Луной украшен
Лазурный юга небосклон,
Старик Земфирой пробужден:
«О мой отец! Алеко страшен.
Послушай: сквозь тяжелый сон
И стонет, и рыдает он».

С т а р и к

Не тронь его. Храни молчанье.
Слышал я русское преданье:
Теперь полунощной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарей
Уходит он. Сиди со мной.

З е м ф и р а

Отец мой! шепчет он: Земфира!

С т а р и к

Тебя он ищет и во сне:
Ты для него дороже мира.

З е м ф и р а

Его любовь постыла мне,
Мне скучно; сердце воли просит —
Уж я... Но тише! слышишь? он
Другое имя произносит...

С т а р и к

Чье имя?

Земфира

Слышишь? хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как ужасно!..
Я разбужу его...

Старик

Напрасно,
Ночного духа не гони —
Уйдет и сам...

Земфира

Он повернулся,
Привстал, зовет меня... проснулся —
Иду к нему — прощай, усни.

Алеко

Где ты была?

Земфира

С отцом сидела.
Какой-то дух тебя томил;
Во сне душа твоя терпела
Мученья; ты меня страшил:
Ты, сонный, скрежетал зубами
И звал меня.

Алеко

Мне снилась ты.
Я видел, будто между нами...
Я видел страшные мечты!

Земфира

Не верь лукавым сновиденьям.

Алеко

Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу твоему.

Старик

О чем, безумец молодой,
О чем вздыхаешь ты всечасно?
Здесь люди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь: тоска тебя погубит.

А л е к о

Отец, она меня не любит.

С т а р и к

Утешься, друг: она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись.
Утешься.

А л е к о

Как она любила!

Как нежно преклонясь ко мне,
Она в пустынной тишине
Часы ночные проводила!
Веселья детского полна,
Как часто милым лепетаньем
Иль упоительным лобзаньем
Мою задумчивость она
В минуту разогнать умела!..
И что ж? Земфира неверна!
Моя Земфира охладела!..

С т а р и к

Послушай: расскажу тебе
Я повесть о самом себе.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал еще москаль —
(Вот видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль.)
Тогда боялись мы султана;
А правил Буджаком паша
С высоких башен Аккермана —
Я молод был: моя душа

В то время радостно кипела;
И ни одна в кудрях моих
Еще сединка не белела,—
Между красавиц молодых
Одна была... и долго ею,
Как солнцем, любовался я,
И наконец назвал моею...

Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только год
Меня любила Мариула.

Однажды близ кагульских вод
Мы чуждый табор повстречали;
Цыганы те, свои шатры
Разбив близ наших у горы,
Две ночи вместе ночевали.
Они ушли на третью ночь,—
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула;
Проснулся я, подруги нет!
Ищу, зову — пропал и след.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакал — с этих пор
Постыли мне все девы мира;
Меж ими никогда мой взор
Не выбирал себе подруги,
И одинокие досуги
Уже ни с кем я не делил.

А л е к о

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам и ей коварной
Кинжала в сердце не вонзил?

С т а р и к

К чему? вольнее птицы младость;
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

А л е к о

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

М о л о д о й ц ы г а н

Еще одно... одно лобзанье...

З е м ф и р а

Пора: мой муж ревнив и зол.

Ц ы г а н

Одно... но доле!.. на прощанье.

З е м ф и р а

Прощай, покамест не пришел.

Ц ы г а н

Скажи — когда ж опять свиданье?

З е м ф и р а

Сегодня, как зайдет луна,
Там, за курганом над могилой...

Ц ы г а н

Обманет! не придет она!

З е м ф и р а

Вот он! беги!.. Приду, мой милый.

Алеко спит. В его уме
Виденье смутное играет;
Он, с криком пробудясь во тьме,
Ревниво руку простирает;
Но обробелая рука
Покровы хладные хватает —
Его подруга далека...
Он с трепетом привстал и внемлет...
Все тихо — страх его объемлет,
По нем текут и жар и хлад;
Встает он, из шатра выходит,
Вокруг телег, ужасен, бродит;
Спокойно все; поля молчат;
Темно; луна зашла в туманы,
Чуть брезжит звезд неверный свет,
Чуть по росе приметный след
Ведет за дальные курганы:
Нетерпеливо он идет,
Куда зловещий след ведет.

Могила на краю дороги
Вдали белеет перед ним...
Туда слабеющие ноги
Влачит, предчувствием томим,
Дрожат уста, дрожат колени,
Идет... и вдруг... иль это сон?
Вдруг видит близкие две тени
И близкий шепот слышит он —
Над обесславленной могилой.

1-й голос

Пора...

2-й голос

Постой...

1-й голос

Пора, мой милый.

2-й голос

Нет, нет, постой, дождемся дня.

1-й голос

Уж поздно.

2-й голос
Как ты робко любишь.
Минуту!

1-й голос
Ты меня погубишь.

2-й голос
Минуту!

1-й голос
Если без меня
Проснется муж?..

Алеко
Проснулся я.
Куда вы! не спешите оба;
Вам хорошо и здесь у гроба.

Земфира
Мой друг, беги, беги...

Алеко
Постой!
Куда, красавец молодой?
Лежи!

Вонзает в него нож.

Земфира
Алеко!

Цыган
Умираю...

Земфира
Алеко, ты убьешь его!
Взгляни: ты весь обрызган кровью!
О, что ты сделал?

Алеко
Ничего.
Теперь дыши его любовью.

Земфира
Нет, полно, не боюсь тебя! —
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклиная...

А л е к о

У м р и ж и т ы !

П о р а ж а е т е е .

З е м ф и р а

У м р у л ю б я . . .

Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.
Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом.
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу в стороне копали.
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На все... когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приближась, рек:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики; нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».

Сказал — и шумною толпою
Поднялся табор кочевой



*Куда вы! Не спешите оба;
Вам хорошо и здесь, у гроба.
(«Цыганы»)*

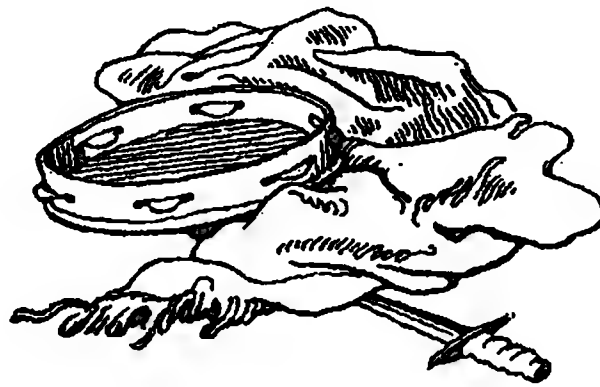
С долины страшного ночлега.
И скоро все в дали степной
Сокрылось; лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подьется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь; в телеге темной
Огня никто не разложил,
Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

ЭПИЛОГ

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиреной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.





ГРАФ НУЛИН

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обзревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу...
Вот мужу подвели коня;
Он холку хватить и в стремя ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу.

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! Не зная нег,
В отъезде поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.

А что же делает супруга
Одна в отсутствии супруга?
Занятий мало ль есть у ней:
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и в погреб заглянуть,—
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.

К несчастью, героиня наша...
(Ах! я забыл ей имя дать.
Муж просто звал ее Наташа,
Но мы — мы будем называть
Наталья Павловна) к несчастью,
Наталья Павловна совсем
Своей хозяйственной частью
Не занималась, затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.

Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой

Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, снег идти хотел...
Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе... сердце бьется...
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звону,
Глядит и видит: за рекой,
У мельницы, коляска скачет.
Вот на мосту — к нам точно... нет,
Поворотила влево. Вслед
Она глядит и чуть не плачет.

Но вдруг... о радость! косогор;
Коляска на бок.— «Филька, Васька!
Кто там? скорей! Вон там коляска:
Сейчас везти ее на двор
И барина просить обедать!
Да жив ли он?.. беги проведать!
Скорей, скорей!»

Слуга бежит.

Наталья Павловна спешит
Взбить пышный локон, шаль накинуть,
Задернуть завес, стул подвинуть,
И ждет. «Да скоро ль, мой творец?»
Вот едут, едут наконец.

Забрызганный в дороге дальней.
Опасно раненный, печальный
Кой-как тащится экипаж;
Вслед барин молодой хромает.
Слуга-француз не унывает
И говорит: *allons, courage!* ¹
Вот у крыльца; вот в сени входят.
Покамест барину теперь
Покой особенный отводят
И настежь отворяют дверь,
Пока *Picard* ² шумит, хлопочет,
И барин одеваться хочет,
Сказать ли вам, кто он таков?
Граф Нулин, из чужих краев,
Где промотал он в вихре моды
Свои грядущие доходы.
Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков *à jour* ³,
С ужасной книжкой Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скотта,
С *bon-mots* ⁴ парижского двора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera ⁵.

Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо.
Дверь отворилась, входит граф;
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво,
Каков он? что нога его?
Граф отвечает: ничего.
Идут за стол; вот он садится,
К ней подвигает свой прибор
И начинает разговор:

¹ Ну, смелей! (франц.)

² Пикар.

³ Ажур (франц.).

⁴ Остротами (франц.).

⁵ И так далее, и так далее (франц.).

Святую Русь бранит, дивится,
 Как можно жить в ее снегах,
 Жалеет о Париже страх.
 «А что театр?» — О! сиротеет,
 C'est bien mauvais, ça fait pitié¹.
 Тальма совсем оглох, слабеет,
 И мамзель Марс — увы! стареет.
 Зато Потье, le grand Potier!²
 Он славу прежнюю в народе
 Доныне поддержал один.—
 «Какой писатель нынче в моде?»
 — Всѣ d'Arlincourt³ и Ламартин.—
 «У нас им также подражают».
 — Нет? право? так у нас умы
 Уж развиваться начинают.
 Дай бог, чтоб просветились мы! —
 «Как тальи носят?» — Очень низко,
 Почти до... вот по этих пор.
 Позвольте видеть ваш убор;
 Так... рюши, банты, здесь узор;
 Все это к моде очень близко.—
 «Мы получаем Телеграф».
 — Ага! хотите ли послушать
 Прелестный водевиль? — И граф
 Поет. «Да, граф, извольте ж кушать».
 — Я сыт и так.—

Изо стола

Встают. Хозяйка молодая
 Черезвычайно весела;
 Граф, о Париже забывая,
 Дивится, как она мила.
 Проходит вечер неприметно;
 Граф сам не свой; хозяйки взор
 То выражается приветно,
 То вдруг потуплен безответно...
 Глядишь — и полночь вдруг на двор.
 Давно храпит слуга в передней,
 Давно поет петух соседний,
 В чугунову доску сторож бьет;
 В гостиной свечки догорели.
 Наталья Павловна встает:
 «Пора, прощайте! ждут постели.

¹ Уж очень плохо, одна грусть (франц.).

² Великий Потье (франц.).

³ Д'Арленкур.

Приятный сон!..» С досадой встав,
Полувлюбленный, нежный граф
Целует руку ей. И что же?
Куда кокетство не ведет?
Проказница — прости ей, боже! —
Тихонько графу руку жмет.

Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои! Параша эта
Наперсница ее затей;
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,
Порой на барина кричит
И лжет пред барыней отважно.
Теперь она толкует важно
О графе, о делах его,
Не пропускает ничего —
Бог весть, разведать как успела.
Но госпожа ей наконец
Сказала: «полно, надоела!» —
Спросила кофту и чепец,
Легла и выйти вон велела.

Своим французом между тем
И граф раздет уже совсем.
Ложится он, сигару просит,
Monsieur Ricard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник
И неразрезанный роман.

В постеле лежа, Вальтер-Скотта
Глазами пробегает он.
Но граф душевно развлечен:
Неугомонная забота
Его тревожит; мыслит он:
«Неужто вправду я влюблен?
Что, если можно?.. вот забавно;
Однако ж это было б славно;
Я, кажется, хозяйке мил», —
И Нулин свечку погасил.

Несносный жар его объемлет,
Не спится графу — бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства. Пылкий наш герой
Воображает очень живо
Хозяйки взор красноречивый,
Довольно круглый, полный стан,
Приятный голос, прямо женский,
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной,
Он помнит: точно, точно так,
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; он дурак,
Он должен бы остаться с нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло: теперь
Отворена, конечно, дверь —
И тотчас, на плеча накинув
Свой пестрый шелковый халат
И стул в потемках опрокинув,
В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился, на все готовый.

Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой, медленно идет,
Полузажмурясь подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.

Влюбленный граф в потемках бродит,
Дорогу ощупью находит.
Желаньем пламенным томим,
Едва дыханье переводит,
Трепещет, если пол под ним
Вдруг заскрыпит... вот он подходит
К заветной двери и слегка
Жмет ручку медную замка;
Дверь тихо, тихо уступает;
Он смотрит: лампа чуть горит
И бледно спальню освещает;

Хозяйка мирно почивает
Иль притворяется, что спит.

Он входит, медлит, отступает —
И вдруг упал к ее ногам...
Она... Теперь с их позволения
Прошу я петербургских дам
Представить ужас пробужденья
Натали Павловны моей
И разрешить, что делать ей?

Она, открыв глаза большие,
Глядит на графа — наш герой
Ей сыплет чувства выписные
И дерзновенною рукой
Коснуться хочет одеяла,
Совсем смутив ее сначала...
Но тут опомнилась она,
И, гнева гордого полна,
А впрочем, может быть, и страха,
Она Тарквинию с размаха
Дает — пощечину, да, да!
Пощечину, да ведь какую!

Сгорел граф Нулин от стыда,
Обиду проглотив такую;
Не знаю, чем бы кончил он,
Досадой страшною пылая,
Но шпиц косматый, вдруг залая,
Прервал Параши крепкий сон.
Услышав граф ее походку
И проклиная свой ночлег
И своенравную красотку,
В постыдный обратился бег.

Как он, хозяйка и Параша
Проводят остальную ночь,
Воображайте, воля ваша!
Я не намерен вам помочь.

Восстав поутру молчаливо,
Граф одевается лениво,
Отделкой розовых ногтей,
Зевая, занялся небрежно,
И галстук вяжет неприлежно,
И мокрой щеткою своей
Не гладит стриженных кудрей.

О чем он думает — не знаю;
Но вот его позвали к чаю.
Что делать? Граф, преодолев
Неловкий стыд и тайный гнев,
Идет.

Проказница молодая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромно разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он.
Получаса не проходило,
Уж он и шутит очень мило,
И чуть ли снова не влюблен.
Вдруг шум в передней. Входят. Кто же?
«Наташа, здравствуй».

— Ах, мой боже!

Граф, вот мой муж. Душа моя,
Граф Нулин.—

«Рад сердечно я...

Какая скверная погода!
У кузницы я видел ваш
Совсем готовый экипаж.
Наташа! там у огорода
Мы затравили русака...
Эй, водки! Граф, прошу отведать:
Прислали нам издалека.
Вы с нами будете обедать?»
— Не знаю, право, я спешу.—
«И, полно, граф, я вас прошу.
Жена и я, гостям мы рады.
Нет, граф, останьтесь!»

Но с досады

И все надежды потеряв,
Упрямится печальный граф.
Уж подкрепив себя стаканом,
Пикар кряхтит за чемоданом.
Уже к коляске двое слуг
Несут привинчивать сундук.
К крыльцу подвезена коляска,
Пикар все скоро уложил.
И граф уехал... Тем и сказка
Могла бы кончиться, друзья;
Но слова два прибавлю я.

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. Почему ж?
Муж? — как не так! совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.





ПОЛТАВА

The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to triumphant Czar.

*Byron*¹

ПОСВЯЩЕНИЕ

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?

Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе —

¹ Мощь и слава войны, изменчивые, как и их суетные поклонники — люди, перешли на сторону торжествующего царя. Байрон (англ.).

*И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.*

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Богат и славен Кочубей ⁽¹⁾ *.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора ⁽²⁾
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей ⁽³⁾.

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блещут ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.
Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шумной

* Здесь и далее цифрами в скобках отмечены слова, примечания к которым даны Пушкиным. Эти примечания смотри в конце произведения.

В молодой Марии почтена:
Везде прославилась она
Девницей скромной и разумной.
Зато завидных женихов
Ей шлет Украина и Россия;
Но от венца, как от оков,
Бежит пугливая Мария.
Всем женихам отказ — и вот
За ней сам гетман сватов шлет ⁽⁴⁾.

Он стар. Он удручен годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства в нем кипят, и вновь
Мазепа ведает любовь.

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

Не серна под утес уходит,
Орла слыша тяжкий лёт;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

И, вся полна негодованьем,
К ней мать идет и, с содроганьем
Схватив ей руку, говорит:
«Бесстыдный! старец нечестивый!
Возможно ль?.. нет, пока мы живы,
Нет! он греха не совершит.
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей...
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом».
Мария вздрогнула. Лицо
Покрыла бледность гробовая,
И, охладев как неживая,
Упала дева на крыльцо.

Она опомнилась, но снова
Закрыла очи — и ни слова
Не говорит. Отец и мать
Ей сердце ищут успокоить,
Боязнь и горесть разогнать,
Тревогу смутных дум устроить...
Напрасно. Целые два дня,
То молча плача, то стеля,
Мария не пила, не ела,
Шатаясь, бледная как тень,
Не зная сна. На третий день
Ее светлица опустела.

Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шепот,
И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.

И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор! Отец и мать
Молву не смеют понимать.
Тогда лишь истина явилась
С своей ужасной наготой.
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы молодой.
Тогда лишь только стало явно,
Зачем бежала своенравно
Она семейственных оков,
Томила тайно, воздыхала
И на приветы женихов
Молчаньем гордым отвечала;
Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,
Когда беседа ликовала

И чаша пенилась вином;
Зачем она всегда певала
Те песни, кои он слагал ⁽⁵⁾,
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;
Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр, и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки... ⁽⁶⁾

Богат и знатен Кочубей.
Довольно у него друзей.
Свою омыть он может славу.
Он может возмутить Полтаву;
Внезапно средь его дворца
Он может мщением отца
Постигнуть гордого злодея;
Он может верною рукой
Вонзить... но замысел иной
Волнует сердце Кочубея.

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Венчанный славой бесполезной,
Отважный Карл скользил над бездной.
Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит прах долины
И клонит пыльную траву.
Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой попятный шаг ⁽⁷⁾.

Украина глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украину,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.

«Что ж гетман? — юноши твердили, —
Он изнемог; он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко ⁽⁸⁾,
Иль Самойлович молодой ⁽⁹⁾,
Иль наш Палей ⁽¹⁰⁾, иль Гордеенко ⁽¹¹⁾
Владели силой войсковою;
Тогда б в снегах чужбины дальней
Не погибали казаки
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки» ⁽¹²⁾.

Так, своеволием пылая,
Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен,
Забыв отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдруг она решит.
Кто снидет в глубину морскую,

Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной? Думы в ней,
Плоды подавленных страстей,
Лежат погружены глубоко,
И замысел давнишних дней,
Быть может, зреет одиноко.
Как знать? Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами старик болтливый,
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирает;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей. Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

«Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! —
Скрежеща мыслит Кочубей, —

Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей;
Ты не истлеешь средь пожара,
Ты не издохнешь от удара
Казачьей сабли. Нет, злодей,
В руках московских палачей,
В крови, при тщетных отрицаньях,
На дыбе, корчась в истязаньях,
Ты проклянешь и день и час,
Когда ты дочь крестил у нас,
И пир, на коем чести чашу
Тебе я полну наливал,
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршун, заклевал!..»

Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они.
Их кони по полям победы
Скакали рядом сквозь огни;
Нередко долгие беседы
Наедине вели они —
Пред Кочубеем гетман скрытный
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему.
Но, в горькой злобе свирепея,
Теперь позыву одному
Оно послушно; он голубит
Едину мысль и день и ночь:
Иль сам погибнет, иль погубит —
Отмстит поруганную дочь.

Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
«В бессильной горести, ко гробу
Теперь он мысли устремил.
Он зла Мазепе не желает;
Всею виновна дочь одна.
Но он и дочери прощает:
Пусть богу даст ответ она,

Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон...»

А между тем орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене (¹³):
Давно в глубокой тишине
Уже донос он грозный копит,
И, гнева женского полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночей, на ложе сна,
Как некий дух, ему она
О мщенье шепчет, укоряет,
И слезы льет, и ободряет,
И клятвы требует — и ей
Клянется мрачный Кочубей.

Удар обдуман. С Кочубеем
Бесстрашный Искра (¹⁴) заодно.
И оба мыслят: «Одолеем;
Врага паденье решено.
Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру,
Донос на мощного злодея
Предубежденному Петру
К ногам положит, не робея?»

Между полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало, он Марию ждал,
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою
К ней женихи, из их рядов

Уныл и сир он удалился.
Когда же вдруг меж казаков
Позор Мариин огласился
И беспощадная молва
Ее со смехом поразила,
И тут Мария сохранила
Над ним привычные права.
Но если кто хотя случайно
Пред ним Мазепу называл,
То он бледнел, терзаясь тайно,
И взоры в землю опускал.

.

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.

Как стекло булат его блестит,
Мешок за пазухой звенит,
Не спотыкаясь, конь ретивый
Бежит, размахивая гривой.

Червонцы нужны для гонца,
Булат потеха молодца,
Ретивый конь потеха тоже —
Но шапка для него дороже.

За шапку он оставить рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос защит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея.

Грозы не чуя между тем,
Не ужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает.

С ним полномощный езуит ⁽¹⁵⁾
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит.
Во тьме ночной они как воры
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов ⁽¹⁶⁾,
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик ⁽¹⁷⁾, гетманов делец,
Его приводит и выводит.
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным ⁽¹⁸⁾ мутят;
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Страшают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В стенах Очакова паша,
Во стане Карл и царь. Не дремлет
Его коварная душа;
Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нем не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.

Но как он вздрогнул, как воспрянул,
Когда пред ним незапно грянул
Упадший гром! когда ему,
Врагу России самому,
Вельможи русские ⁽¹⁹⁾ послали
В Полтаве писанный донос
И вместо праведных угроз,
Как жертве, ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал

И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!

Мазепа, в горести притворной,
К царю возносит глас покорный.
«И знает бог, и видит свет:
Он, бедный гетман, двадцать лет
Царю служил душою верной;
Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно вознесен...
О, как слепа, безумна злоба!..
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение измен
И потемнять благую славу?
Не он ли помощь Станиславу ⁽²⁰⁾
С негодованьем отказал,
Стыдясь, отверг венец Украйны,
И договор и письма тайны
К царю, по долгу, отослал?
Не он ли наущеньям хана ⁽²¹⁾
И цареградского салтана
Был глух? Усердием горя,
С врагами белого царя
Умом и саблей рад был спорить,
Трудов и жизни не жалел,
И ныне злобный недруг смел
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Так долго быв его друзьями!..»
И с кровожадными слезами,
В холодной дерзости своей,
Их казни требует злодей... ⁽²²⁾

Чьей казни?.. старец непреклонный!
Чья дочь в объятиях его?
Но хладно сердца своего
Он заглушает ропот сонный.
Он говорит: «В неравный спор
Зачем вступает сей безумец?
Он сам, надменный вольнодумец,
Сам точит на себя топор.
Куда бежит, зажавши вежды?
На чем он основал надежды?
Или... но дочери любовь
Главы отцовской не искупит.

Любовник гетману уступит,
Не то моя прольется кровь».

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
К душе свирепой и развратной
Так сильно ты привлечена?
Кому ты в жертву отдана?
Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор
Тебе всего, всего дороже:
Ты мать забыть для них могла,
Соблазном постланное ложе
Ты отчей сени предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старик заморозил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умилением —
Тебе приятен твой позор,
Ты им, в безумном упоенье,
Как целомудрием горда —
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденье...

Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава,
Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?
И дней невинных ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она, сквозь слезы, видит их

В бездетной старости, одних,
И, мнится, пеням их внимает...
О, если б ведала она,
Что уж узнала вся Украина!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Мазепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит на старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит.
Напрасно: черных помышлений
Ее любовь не удалит.
Пред бедной девой с невниманьем
Он хладно потупляет взор
И ей на ласковый укор
Одним ответствует молчаньем.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встает она
И говорит с негодованьем:

«Послушай, гетман: для тебя
Я позабыла все на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете:
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастье мое,
Но ни о чем я не жалею...
Ты помнишь: в страшной тишине,
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?»

М а з е п а

Мой друг, несправедлива ты.
Оставь безумные мечты;
Ты подозреньем сердце губишь:
Нет, душу пылкую твою
Волнуют, ослепляют страсти.
Мария, верь: тебя люблю
Я больше славы, больше власти.

М а р и я

Неправда: ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах — я забыта;
Ты долгой ночью иль один,
Иль с нищим, иль у езуита;
Любовь смиренная моя
Встречает хладную суровость.
Ты пил недавно, знаю я,
Здоровье Дульской. Это новость;
Кто эта Дульская?

М а з е п а

И ты

Ревнива? Мне ль, в мои ли лета
Искать надменного привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я, старик суровый,
Как праздный юноша, вздыхать,
Влачить позорные оковы
И жен притворством искушать?

М а р и я

Нет, объяснись без отговорок
И просто, прямо отвечай.

М а з е п а

Покой души твоей мне дорог,
Мария; так и быть: узнай.

Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам пришло;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украине быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.
Готово все: в переговорах

Со мною оба короля;
И скоро в смутах, в бранных спорах,
Быть может, трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит, да нищий сей
К концу мой замысел приводят.
Через руки их ко мне доходят
Наказы, письма королей.
Вот важные тебе признанья.
Довольна ль ты? Твои мечтанья
Рассеяны ль?

М а р и я

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим седидам как пристанет
Корона царская!

М а з е п а

Постой,
Не все свершилось. Буря грянет;
Кто может знать, что ждет меня?

М а р и я

Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.

М а з е п а

А если плаха?..

М а р и я

С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.

М а з е п а

Меня ты любишь?

М а р и я

Я! люблю ли?

М а з е п а

Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

М а р и я

Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит
Меня напрасно он. Семейю
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может
(Какая страшная мечта!),
Моим отцом я проклята,
А за кого?

М а з е п а

Так я дороже
Тебе отца? Молчишь...

М а р и я

О боже!

М а з е п а

Что ж? отвечай.

М а р и я

Реши ты сам.

М а з е п а

Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

М а р и я

Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искуситель.

М а з е п а

Отвечай!

М а р и я

Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

М а з е п а

Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом;
Но в замке шепот и смятение.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышлении,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.

Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, боже правый!
К ногам злодея, молча, пасть,
Как бессловесное созданье,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь — и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..

И вспомнил он свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,
И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд и мирный сон,
И все, чем в жизни наслаждался,
Что добровольно бросил он,
И для чего? —

Но ключ в заржавом
Замке гремит — и, пробужден,
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!

И с сокрушением сердечным
Готов несчастный Кочубей
Перед всеильным, бесконечным
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святого,
Он гостя узнает иного:
Свирепый Орлик перед ним.
И, отвращением томим,
Страдалец горько вопрошает:
«Ты здесь, жестокий человек?
Зачем последний мой ночлег
Еще Мазепа возмущает?»

О р л и к

Допрос не кончен: отвечай.

К о ч у б е й

Я отвечал уже: ступай,
Оставь меня.

О р л и к

Еще признанья
Пан гетман требует.

К о ч у б е й

Но в чем?

Давно сознался я во всем,
Что вы хотели. Показанья
Мои все ложны. Я лукав,
Я строю козни. Гетман прав.
Чего вам более?

О р л и к

Мы знаем,
Что ты несчетно был богат;
Мы знаем: не единый клад
Тобой в Диканьке ⁽²³⁾ укрываем.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую —
Таков закон. Я указую
Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой?

К о ч у б е й

Так, не ошиблись вы: три клада
В сей жизни были мне отрада.
И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;
Другой был клад невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь над ним дрожал:
Мазепа этот клад украл.
Но сохранил я клад последний,
Мой третий клад: святую месть.
Ее готовлюсь богу снести.

О р л и к

Старик, оставь пустые бредни:
Сегодня покидая свет,
Питайся мыслию суровой.
Шутить не время. Дай ответ,
Когда не хочешь пытки новой:
Где спрятал деньги?

К о ч у б е й

Злой холоп!

Окончишь ли допрос нелепый?
Повремени: дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мое наследие считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады с домами.
С собой возьмите дочь мою;
Она сама вам все расскажет,
Сама все клады вам укажет;
Но ради господ молю,
Теперь оставь меня в покое.

О р л и к

Где спрятал деньги? укажи.
Не хочешь? — Деньги где? скажи,
Иль выйдет следствие плохое.
Подумай: место нам назначь.
Молчишь? — Ну, в пытку. Гей, палач! (24)

Палач вошел...

О, ночь мучений!

Но где же гетман? где злодей?
Куда бежал от угрызений
Змеиной совести своей?
В светлице девы усыпленной,
Еще незнанием блаженной,
Близ ложа крестницы молодой
Сидит с поникшею главой
Мазепа тихий и угрюмый.
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
«Умрет безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:
Доносчик и его клевет
Умрут». Но, брося взор на ложе,
Мазепа думает: «О боже!
Что будет с ней, когда она
Услышит слово роковое?
Досель она еще в покое —
Но тайна быть сохранена
Не может долее. Секира,
Упав поутру, загремит
По всей Украине. Голос мира
Вокруг нее заговорит!..
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань...
Все, что цены себе не знает,
Все, все, чем жизнь мила бывает,

Бедняжка принесла мне в дар,
Мне, старцу мрачному,— и что же?
Какой готовлю ей удар!»
И он глядит: на тихом ложе
Как сладок юности покой!
Как сон ее лелеет нежно!
Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра... содрогаясь,
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединенный сходит сад.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма.

Вдруг... слабый крик... невнятный стон
Как бы из замка слышит он.
То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,
Иль пытки стон, иль звук иной —
Но только своего волненья
Преодолеть не мог старик
И на протяжный слабый крик
Другим ответствовал — тем криком,
Которым он в весельи диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем
И — с ним... и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.

Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.
Блеснули доли, холмы, нивы,

Вершины рощ и волны рек.
Раздался утра шум игривый,
И пробудился человек.

Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая, и слышит
Сквозь легкий сон, что кто-то к ней
Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась — но скорей
С улыбкой взор ее сомкнулся
От блеска утренних лучей.
Мария руки протянула
И с негой томною шепнула:
«Мазепа, ты?..» Но голос ей
Иной отвечает... о боже!
Вздрагнув, она глядит... и что же?
Пред нею мать...

М а т ь

Молчи, молчи;
Не погуби нас: я в ночи
Сюда прокралась осторожно
С единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно.
Спаси отца.

Д о ч ь, в ужасе

Какой отец?
Какая казнь?

М а т ь

Иль ты доныне
Не знаешь?.. нет! ты не в пустыне,
Ты во дворце; ты знать должна,
Как сила гетмана грозна,
Как он врагов своих карает,
Как государь ему внимает...
Но вижу: скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершают суд свирепый,
Когда читают приговор,
Когда готов отцу топор...
Друг другу, вижу, мы чужие...
Опомнись, дочь моя! Мария,

Беги, пади к его ногам,
Спаси отца, будь ангел нам:
Твой взгляд злодеям руки свяжет,
Ты можешь их топор отвести.
Рвись, требуй — гетман не откажет:
Ты для него забыла честь,
Родных и бога.

Д о ч ь

Что со мною?

Отец... Мазепа... казнь — с мольбою
Здесь, в этом замке мать моя —
Нет, иль ума лишилась я,
Иль это грезы.

М а т ь

Бог с тобою,

Нет, нет — не грезы, не мечты.
Ужель еще не знаешь ты,
Что твой отец ожесточенный
Бесчестья дочери не снес
И, жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донес...
Что в истязаниях кровавых
Сознался в умыслах лукавых,
В стыде безумной клеветы,
Что, жертва смелой правоты,
Врагу он выдан головою,
Что пред громадой войсковою,
Когда его не осенит
Десница вышняя господня,
Он должен быть казнен сегодня,
Что здесь покамест он сидит
В тюремной башне.

Д о ч ь

Боже, боже!..

Сегодня! — бедный мой отец!

И дева падает на ложе,
Как хладный падает мертвец.

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки ⁽²⁵⁾.
В строях равняются полки.

Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеинный хвост,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой намоет.
На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.
В гремучий говор все слилось:
Крик женский, брань, и смех, и ропот.
Вдруг восклицанье раздалось,
И смолкло все. Лишь конский топот
Был слышен в грозной тишине.
Там, окруженный сердюками,
Вельможный гетман с старшинами
Скакал на вороном коне.
А там по киевской дороге
Телега ехала. В тревоге
Все взоры обратили к ней.
В ней, с миром, с небом примиренный,
Могущей верой укрепленный,
Сидел безвинный Кочубей,
С ним Искра тихий, равнодушный,
Как агнец, жребию послушный.
Телега стала. Раздалось
Моленье ликов громогласных.
С кадил куренье поднялось.
За упокой души несчастных
Безмолвно молится народ,
Страдальцы за врагов. И вот
Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —
И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряженной рукой
Потряс их обе над толпой.

Свершилась казнь. Народ беспечный
Идет, рассыпавшись, домой

И про свои работы вечны
Уже толкует меж собой.
Пустеет поле понемногу.
Тогда чрез пеструю дорогу
Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
Они, казалось, к месту казни
Спешили, полные боязни.
«Уж поздно», — кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намоет ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.

Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся
От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего;
Весь в пене мчался конь его.
Домой приехав, «что Мария?»
Спросил Мазепа. Слышит он
Ответы робкие, глухие...
Невольным страхом поражен,
Идет он к ней; в светлицу входит:
Светлица тихая пуста —
Он в сад, и там смятенный бродит;
Но вокруг широкого пруда,
В кустах, вдоль сеней безмятежных
Все пусто, нет нигде следов —
Ушла! — Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков.
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий клик погони,
Верхом — и скачут молодцы
Во весь опор во все концы.

Бегут мгновенья дорогие.
Не возвращается Мария.
Никто не ведал, не слышал,
Зачем и как она бежала...
Мазепа молча скрежетал.
Затихнув, челядь трепетала.
В груди кипучий яднося,

В светлице гетман заперся.
Близ ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.
Поутру посланные слуги
Один явились за другим.
Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Все было пеною покрыто,
В крови, растеряно, избито —
Но ни один ему принести
Не мог о бедной деве весть.
И след ее существованья
Пропал, как будто звук пустой,
И мать одна во мрак изгнанья
Умчала горе с нищетой.

ПЕСНЬ ТРЕТИЯ

Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украйны не мешает.
Твердея в умысле своем,
Он с гордым шведским королем
Свои сношенья продолжает.
Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья,
Он, окружась толпой врачей,
На ложе мнимого мученья
Стоная молит исцеленья.
Плоды страстей, войны, трудов,
Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его к одру. Уже готов
Он скоро бренный мир оставить;
Святой обряд он хочет править,
Он архипастыря зовет
К одру сомнительной кончины,
И на коварные седины
Елей таинственный течет.

Но время шло. Москва напрасно
К себе гостей ждала всечасно,
Средь старых, вражеских могил
Готовя шведам тризну тайну.

Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украину.

И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет — и к Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжело жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.

И весть на крыльях полетела.
Украина смутно зашумела:
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный». Пламя пышет,
Встает кровавая заря
Войны народной.

Кто опишет
Негодование, гнев царя? ⁽²⁶⁾
Гремит анафема в соборах;
Мазепы лик терзает кат ⁽²⁷⁾.
На шумной раде, в вольных спорах
Другого гетмана творят.
С берегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.
Мазепы враг, наездник пылкий,
Старик Палей из мрака ссылки
В Украину едет в царский стан.
Трепещет бунт осиротелый.
На плахе гибнет Чечель ⁽²⁸⁾ смелый
И запорожский атаман.
И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день, ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.

И царь туда ж помчал дружины.
Они как буря притекли —
И оба стана средь равнины
Друг друга хитро облегли.
Не раз избитый в схватке смелой,
Заране кровью опьянелый,
С бойцом желанным наконец
Так грозный сходится боец.
И, злобясь, видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков.

Но он решил: завтра бой.
Глубокий сон во стане шведа.
Лишь под палаткою одной
Ведется шепотом беседа.

«Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? Дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать ⁽²⁹⁾,
Ответствовать на бомбу смехом ⁽³⁰⁾;
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью стану;
Свалить как нынче казака
И обменять на рану рану ⁽³¹⁾;
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит —
Сломить ему свои рога.

Стыжусь: воинственным бродягой
Увлекся я на старость лет;
Был ослеплен его отвагой
И беглым счастьем побед,
Как дева робкая».

О р л и к

Сраженья

Дождемся. Время не ушло
С Петром опять войти в сношенья:
Еще поправить можно зло.
Разбитый нами, нет сомненья,
Царь не отвергнет примиренья.

М а з е п а

Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовом
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые...
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее — как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца:
Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова как во дни былые
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.

Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжелой твердостью своею
Ее стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.

Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирив,
Прервали свой голодный рев.
И се — равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волнение.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду

Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Среди тревоги и волненья
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу
И в тишине ведут беседу.
Но близ московского царя
Кто воин сей под сединами?
Двумя поддержан казаками,
Сердечной ревностью горя,
Он оком опытным героя
Взирает на волненье боя.
Уж на коня не вскочит он,
Одрях, в изгнанье сиротея,
И казаки на клич Палея
Не налетят со всех сторон!
Но что ж его сверкнули очи
И гневом, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль он, сквозь бранный дым, увидел
Врага Мазепу, и в сей миг
Свои лета возненавидел
Обезоруженный старик?

Мазепа, в думу погруженный,
Взирал на битву, окруженный
Толпой мятежных казаков,
Родных, старшин и сердюков.
Вдруг выстрел. Старец обратился.
У Войнаровского в руках
Мушкетный ствол еще дымился.
Сраженный в нескольких шагах,
Младой казак в крови валялся,
А конь, весь в пене и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь в огненной дали.
Казак на гетмана стремился
Сквозь битву с саблею в руках,

С безумной яростью в очах.
Старик, подъехав, обратился
К нему с вопросом. Но казак
Уж умирал. Потухший зрак
Еще грозил врагу России;
Был мрачен помертвелый лик,
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит ⁽³²⁾.
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи.

Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

Но где же первый, званый гость?
Где первый, грозный наш учитель,
Чью долговременную злость
Смирил полтавский победитель?
И где ж Мазепа? где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе? ⁽³³⁾

Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,

И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.

Обозревая зорким взглядом
Степей широкий полукруг,
С ним старый гетман скачет рядом.
Пред ними хутор... Что же вдруг
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Он стороной во весь опор?
Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узнал ли ты сию обитель,
Сей дом, веселый прежде дом,
Где ты, вином разгоряченный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутил, бывало, за столом?
Узнал ли ты приют укромный,
Где мирный ангел обитал,
И сад, откуда ночью темной
Ты вывел в степь... Узнал, узнал!

Ночные тени степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра.
Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.
Глядит: над ним, грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул, как под топором...
Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена...
«Иль это сон?.. Мария... ты ли?»

М а р и я

Ах, тише, тише, друг!.. Сейчас
Отец и мать глаза закрыли...
Постой... услышать могут нас.

М а з е п а

Мария, бедная Мария!
Опомнись! Боже!.. Что с тобой?

М а р и я

Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову — творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья — видишь: какова!
Чем обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей меня пугать?
И для чего? чтоб я не смела
С тобой сегодня убежать!
Возможно ль?

С горестью глубокой

Любовник ей внимал жестокий.
Но, вихрю мыслей предана,
«Однако ж,— говорит она,—
Я помню поле... праздник шумный...
И чернь... и мертвые тела...
На праздник мать меня вела...
Но где ж ты был?.. С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой. Скорей... уж поздно.
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..»

И с диким смехом завизжала
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась в темноте ночной.

Редела тень. Восток алел.
Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает».
Но гетман уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
В груди дыханье стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколение миновалось —
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
В стране — где мельниц ряд крылатый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,
Где бродят буйволы рогаты
Вокруг воинственных могил, —
Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук;
И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:

Забут Мазепа с давних пор!
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор.
Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила ⁽³⁴⁾.
Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.
Но дочь преступница... преданья
Об ней молчат. Ее страданья,
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою
От нас закрыты. Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.



ПРИМЕЧАНИЯ¹

(¹) Василий Леонтьевич Кочубей, генеральный судия, один из предков нынешних графов.

(²) Хутор — загородный дом.

(³) У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, называлась Матреной.

(⁴) Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но ему отказали.

(⁵) Предание приписывает Мазепе несколько песен, донныне сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении.

(⁶) Бунчук и булава — знаки гетманского достоинства.

(⁷) См. *Мазепу* Байрона.

(⁸) Дорошенко, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского владычества.

(⁹) Григорий Самойлович, сын гетмана, сосланного в Сибирь в начале царствования Петра I.

(¹⁰) Симеон Палей, хвостовский полковник, славный наездник. За своевольные набеги сослан был в Енисейск по жалобам Мазепы. Когда сей последний оказался изменником, то и Палей, как закоренелый враг его, был возвращен из ссылки и находился в Полтавском сражении.

(¹¹) Костя Гордеенко, кошевой атаман запорожских казаков. Впоследствии передался Карлу XII. Взят в плен и казнен в 1708 г.

(¹²) 20 000 казаков было послано в Лифляндию.

(¹³) Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, что им управляет жена его, *гордая и высокоумная*.

(¹⁴) Искра, полтавский полковник, товарищ Кочубея, поделивший с ним его умысел и участь.

(¹⁵) Езуит Заленский, княгиня Дульская и какой-то болгарский архиепископ, изгнанный из своего отечества, были главными агентами Мазепиной измены. Последний в виде нищего ходил из Польши в Украину и обратно.

¹ Примечания к «Полтаве» и далее к «Медному всаднику» и «Евгению Онегину» А. С. Пушкина.

(¹⁶) Так назывались манифесты гетманов.

(¹⁷) Филипп Орлик, генеральный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 1710) сего последнего получил от Карла XII пустой титул малороссийского гетмана. Впоследствии принял магометанскую веру и умер в Бендерах около 1736 года.

(¹⁸) Булавин, донской казак, бунтовавший около того времени.

(¹⁹) Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей.

(²⁰) В 1705 году. См. примечания к Истории Малороссии, Бантыша Каменского.

(²¹) Во время неудачного похода в Крым Казы-Гирей предлагал ему соединиться с ним и вместе напасть на русское войско.

(²²) В своих письмах он жаловался, что доносителей пытали слишком легко, неотступно требовал их казни, сравнивал себя с Сусаиною, неповинно оклеветанною незаконными старцами, а графа Головкина с пророком Даниилом.

(²³) Деревня Кочубея.

(²⁴) Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных.

(²⁵) Войско, состоявшее на собственном иждивении гетманов.

(²⁶) Сильные меры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой и энергией, удержали Украину в повиновении.

«1708 ноября 7-го числа, по указу государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали в гетманы полковника стародубского Ивана Скоропадского.

8-го числа приехали в Глухов киевский, черниговский и переяславский архиепископы.

А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиерен публично; того же дня и персону (куклу) одного изменника Мазепы вынесли и, сняв кавалерию (которая на ту персону была надета с бантом), оную персону бросили в палачевские руки, которую палач, взяв и прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесили.

В Глухове же 10-го дня казнили Чечеля и прочих изменников...» (*Журнал Петра Великого.*)

(²⁷) Малороссийское слово. По-русски — палач.

(²⁸) Чечель отчаянно защищал Батурин против войск князя Меншикова.

(²⁹) В Дрезден к королю Августу. См. *Voltaire. Histoire de Charles XII*¹.

(³⁰) — Ах, ваше величество! бомба!..—«Что есть общего между бомбою и письмом, которое тебе диктуют? пиши». Это случилось гораздо после.

(³¹) Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу.

¹ Вольтер. История Карла XII.

(³²) Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям князя Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов. *Ибо (сказано в Журнале Петра Великого) непобедимые господа шведы скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута.* Петр впоследствии времени многое прощал Данилычу за услуги, оказанные в сей день генералом князем Меншиковым.

(³³) L'Empereur Moscovite, pénétré d'une joie qu'il ne se mettait pas en peine de dissimuler (было о чем и радоваться), recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui amenait en foule et demandait à tout moment: où est donc mon frère Charles?

...Alors prenant un verre de vin: A la santé, dit-il, de mes maîtres dans l'art de la guerre! — Renschild lui demanda: qui étaient ceux qu'il honorait d'un si beau titre.— Vous, Messieurs les généraux Suédois; reprit le Czar.— Votre Majesté est donc bien ingrate, reprit le Comte, d'avoir tant maltraité ses maîtres ¹.

(³⁴) Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись:

«Кто еси мимо грядый о насъ невѣдущій,
Елицы здѣ естесмо положены сущи,
Понеже намъ страсть и смерть повѣлѣ молчати,
Сей камень возопіеть о насъ ти вѣщати,
И за правду и вѣрность къ Монарсѣ нашу
Страданія и смерти испіймо чашу,
Злуданьемъ Мазепы, всевѣчно правы,
Посѣченны zostавше топоромъ во главы;
Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матери Владычнѣ,
Подающія всѣмъ своимъ рабомъ животъ вѣчный.

Року 1708, мѣсяца іюля 15 дня, посѣчены средѣ Обозу войсковаго, за Бѣлою Церковію на Борщаговцѣ и Ковшевомъ, благородный Василій Кочубей, судія генеральный; Іоаннъ Искра, полковникъ полтавскій. Привезены же тѣла их іюля 17 въ Кіевъ и того жъ дня въ обители святой Печерской на семъ мѣстѣ погребены».

¹ Московский император, проникнутый радостью, которую он не давал себе труда скрывать... принимал на поле битвы пленников, которых ему приводили толпой, и то и дело спрашивал: «А где же мой брат Карл?»

...Тогда, взяв стакан вина, он сказал: «За здоровье моих учителей в военном искусстве!» Реншильд спросил его, кого он почтил таким славным титулом. «Вас, господа шведские генералы»,— ответил царь. «В таком случае ваше величество очень неблагодарны,— ответил граф,— вы так дурно обошлись со своими учителями» (франц.).



МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Петербургская повесть

1833

ПРЕДИСЛОВИЕ

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом.

ВСТУПЛЕНИЕ

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назлом надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно (¹),
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиросная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,

И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса ⁽²⁾.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливы,
Ума недалежного ленивы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли

С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт:

«Жениться? Мне? зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу семейство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер был не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редает мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает... ⁽³⁾
Ужасный день!

Нева всю ночь
Рвалась к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ

Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

В тот грозный год

Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы ⁽⁴⁾
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С поднятой лапой, как живые,

Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижимый, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слышал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вот, насытись разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем

Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит, как на находку;
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.

Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Все перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,

Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..

Он остановился.

Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь ворота —
Снесло их, видно. Где же дом?
И, полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, удара в лоб рукою,
Захохотал.

Ночная мгла

На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.

Утра луч

Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багрянницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний все вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.

Граф Хвостов,

Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум

Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали, во тьме ночной,
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился — и вокруг
Тихонько стал водить очами

С боязною дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С поднятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вокруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? ⁽⁵⁾

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводнение
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

ПРИМЕЧАНИЯ

(¹) Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe» ¹.

(²) Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***.

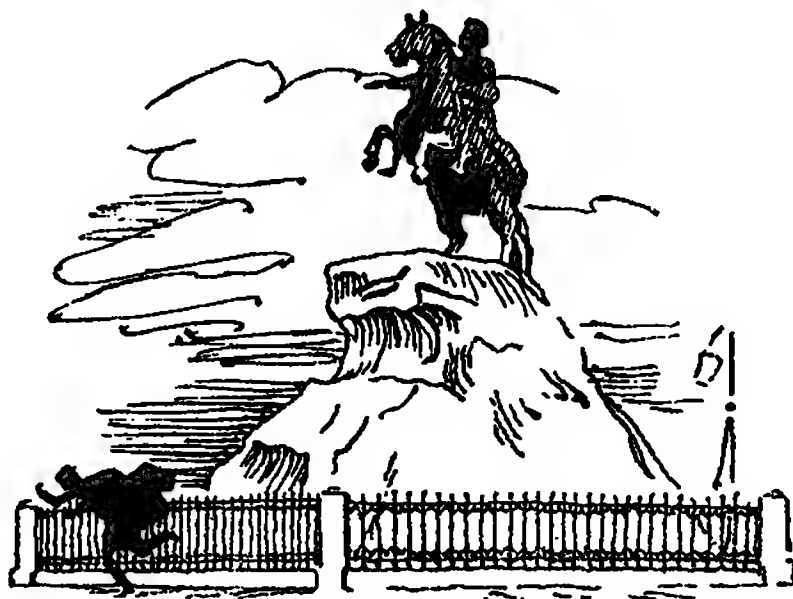
(³) Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz ². Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.

(⁴) Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф.

(⁵) Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич.

¹ «Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу» (франц.).

² Олешкевич (франц.).





СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод,—
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,—
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод,—
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростой рыбкой,— золотою.
Как взмолился золотая рыбка!
Голосом молвит человеческим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую

И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит,— море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Вот пошел он к синему морю,
(Помутилося синее море.)

Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает.
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

Пошел старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.

Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшню служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилась пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;

Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик,— испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взаши затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».

Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.



ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ





БОРИС ГОДУНОВ

Драгоценной для россиян памяти
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА
сей труд, гением его вдохновенный,
с благоговением и благодарностию
посвящает

Александр Пушкин

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ

(1598 года, 20 февраля)

Князя Шуйский и Воротынский.

Воротынский

Наряжены мы вместе город ведать,
Но, кажется, нам не за кем смотреть:
Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ.
Как думаешь, чем кончится тревога?

Шуйский

Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,

Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.

Воротынский

Но месяц уж протек,
Как, затворясь в монастыре с сестрою,
Он, кажется, покинул всё мирское.
Ни патриарх, ни думные бояре
Склонить его доселе не могли;
Не внемлет он ни слезным увещаньям,
Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы,
Ни голосу Великого Собора.
Его сестру напрасно умоляли
Благословить Бориса на державу;
Печальная монахиня-царица
Как он тверда, как он неумолима,
Знать, сам Борис сей дух в нее вселил;
Что ежели правитель в самом деле
Державными заботами наскучил
И на престол безвластный не взойдет?
Что скажешь ты?

Шуйский

Скажу, что понапрасну

Лилася кровь царевича-младенца;
Что если так, Дмитрий мог бы жить.

Воротынский

Ужасное злодейство! Полно, точно ль
Царевича сгубил Борис?

Шуйский

А кто же?

Кто подкупал напрасно Чепчугова?
Кто подослал обоих Битяговских
С Качаловым? Я в Углич послан был
Исследовать на месте это дело:
Наехал я на свежие следы;
Весь город был свидетель злодеянья;
Все граждане согласно показали;
И, возвратясь, я мог единым словом
Изобличить сокрытого злодея.

Воротынский

Зачем же ты его не уничтожил?

Ш у й с к и й

Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью нежданной,
Он мне в глаза смотрел, как будто правый:
Расспрашивал, в подробности входил —
И перед ним я повторил нелепость,
Которую мне сам он нашептал.

В о р о т ы н с к и й

Не чисто, князь.

Ш у й с к и й

А что мне было делать?
Все объявить Феодору? Но царь
На все глядел очами Годунова,
Всему внимал ушами Годунова:
Пускай его б уверил я во всем,
Борис тотчас его бы разуверил,
А там меня ж сослали б в заточенье,
Да в добрый час, как дядю моего,
В глухой тюрьме тихонько б задавили.
Не хвастаюсь, а в случае, конечно,
Никая казнь меня не устрашит.
Я сам не трус, но также не глупец
И в петлю лезть не соглашуся даром.

В о р о т ы н с к и й

Ужасное злодейство! Слушай, верно
Губителя раскаянье тревожит:
Конечно, кровь невинного младенца
Ему ступить мешает на престол.

Ш у й с к и й

Перешагнет; Борис не так-то робок!
Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...

В о р о т ы н с к и й

Так, родом он незнатен; мы знатнее.

Ш у й с к и й

Да, кажется.

В о р о т ы н с к и й

Ведь Шуйский, Воротынский...
Легко сказать, природные князья.

Ш у й с к и й
Природные, и Рюриковой крови.

В о р о т ы н с к и й
А слушай, князь, ведь мы б имели право
Наследовать Феодору.

Ш у й с к и й
Да, боле,
Чем Годунов.

В о р о т ы н с к и й
Ведь в самом деле!

Ш у й с к и й
Что ж?
Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова,
Своих князей у них довольно, пусть
Себе в цари любого изберут.

В о р о т ы н с к и й
Не мало нас, наследников варяга,
Да трудно нам тягаться с Годуновым:
Народ отвык в нас видеть древнюю отрасль
Воинственных властителей своих.
Уже давно лишились мы уделов,
Давно царям подручниками служим,
А он умел и страхом, и любовью,
И славою народ очаровать.

Ш у й с к и й (*глядит в окно*)
Он смел, вот все — а мы... Но полно. Видишь,
Народ идет, рассыпавшись, назад —
Пойдем скорей, узнаем, решено ли.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Н а р о д.

О д и н

Неумолим! Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним напрасно пали ниц;
Его страшит сияние престола.

Д р у г о й

О боже мой, кто будет нами править?
О горе нам!

Т р е т и й

Да вот верховный дьяк
Выходит нам сказать решение Думы.

Н а р о д

Молчать! молчать! дьяк думный говорит;
Ш-ш — слушайте!

Щ е л к а л о в (с Красного крыльца)

Собором положили

В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною правителя душой.

Заутра вновь святейший патриарх,
В Кремле отпев торжественно молебен,
Предшествуем хоругвями святыми,
С иконами Владимирской, Донской,
Воздвижется; а с ним синклит, бояре,
Да сонм дворян, да выборные люди
И весь народ московский православный,
Мы все пойдем молить царицу вновь,
Да сжалится над сиркою Москвою
И на венец благословит Бориса.
Идите же вы с богом по домам,
Молитесь — да взыдет к небесам
Усердная молитва православных.

Н а р о д расходится.

ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ. НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Н а р о д.

О д и н

Теперь они пошли к царице в келью,
Туда вошли Борис и патриарх
С толпой бояр.

Д р у г о й

Что слышно?

Т р е т и й

Все еще

Упрямится; однако есть надежда.

Б а б а (с ребенком)

Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука
Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь!

О д и н

Нельзя ли нам пробраться за ограду?

Д р у г о й

Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,
Не только там. Легко ли? Вся Москва
Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли,
Все ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Унижены народом.

П е р в ы й

Право, любо!

О д и н

Что там за шум?

Д р у г о й

Послушай! что за шум?

Народ завыл, там падают, что волны,
За рядом ряд... еще... еще... Ну, брат,
Дошло до нас; скорее! на колени!

Н а р о д (на коленях. Вой и плач)

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!

О д и н (тихо)

О чем там плачут?

Д р у г о й

А как нам знать? то ведают бояре,
Не нам чета.

Б а б а (с ребенком)

Ну, что ж? как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень!

(Бросает его об землю. Ребенок пищит.)

Ну, то-то же.

Один

Все плачут,
Заплачем, брат, и мы.

Другой

Я силюсь, брат.
Да не могу.

Первый

Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.

Второй

Нет, я слюней помажу.
Что там еще?

Первый

Да кто их разберет?

Народ

Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ

Борис, патриарх, бояре.

Борис

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
Наследую могущим Иоаннам —
Наследую и ангелу-царю!..
О праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,

Да буду благ и праведен, как ты.

От вас я жду содействия, бояре,
Служите мне, как вы ему служили,
Когда труды я ваши разделял,
Не избранный еще народной волей.

Б о я р е

Не изменим присяге, нами данной.

Б о р и с

Теперь пойдем, поклонимся гробам
Почиющих властителей России,
А там — сзывать весь наш народ на пир,
Всех, от вельмож до нищего слепца;
Всем вольный вход, все гости дорогие.

(Уходит, за ним и бояре.)

В о р о т ы н с к и й (останавливая Шуйского)

Ты угадал.

Ш у й с к и й

А что?

В о р о т ы н с к и й

Да здесь, намедни,
Ты помнишь?

Ш у й с к и й

Нет, не помню ничего.

В о р о т ы н с к и й

Когда народ ходил в Девичье поле,
Ты говорил...

Ш у й с к и й

Теперь не время помнить,
Советую порой и забывать.
А впрочем, я злословием притворным
Тогда желал тебя лишь испытать,
Верней узнать твой тайный образ мыслей;
Но вот — народ приветствует царя —
Отсутствие мое заметить могут —
Иду за ним.

В о р о т ы н с к и й

Лукавый царедворец!

НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУДОВОМ МОНАСТЫРЕ

(1603 года)

Отец Пимен, Григорий спящий.

Пимен (*пишет перед лампадой*)

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погребло не возвратно...
Но близок день, лампада догорает —
Еще одно, последнее сказанье. (*Пишет.*)

Григорий (*пробуждается*)

Всё тот же сон! возможно ль? в третий раз!
Проклятый сон!.. А всё перед лампадой
Старик сидит да пишет — и дремотой,
Знать, во всю ночь он не смыкал очей.
Как я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет; и часто
Я угадать хотел, о чем он пишет?
О темном ли владычестве татар?
О казнях ли свирепых Иоанна?

О бурном ли новгородском вече?
О славе ли отечества? напрасно.
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Всё тот же вид смиренный, величавый.
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

П и м е н

Проснулся, брат.

Г р и г о р и й

Благослови меня,
Честный отец.

П и м е н

Благослови господь
Тебя и днесь, и присно, и вовеки.

Г р и г о р и й

Ты всё писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилось, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался...
И три раза мне снился тот же сон.
Не чудно ли?

П и м е н

Младая кровь играет;
Смирять себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены. Доныне — если я,
Невольною дремотой обессилен,
Не сотворю молитвы долгой к ночи —
Мой старый сон не тих, и не безгрешен,
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!

Г р и г о р и й

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.

П и м е н

Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим наслаждался;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь господь меня привел.
Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.
Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов.
Его дворец, любимцев гордых полный,
Монастыря вид новый принимал:
Кромешники в тафьях и власяницах
Послушными являлись чернецами,
А грозный царь игуменом смиренным.
Я видел здесь — вот в этой самой келье
(В ней жил тогда Кирилл многострадальный,
Муж праведный. Тогда уж и меня
Сподобил бог уразуметь ничтожность
Мирских сует), здесь видел я царя,
Усталого от гневных дум и казней.
Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,
Мы перед ним недвижимо стояли,
И тихо он беседу с нами вел.

Он говорил игумену и братье:
«Отцы мои, желанный день придет,
Предстану здесь алкающий спасенья.
Ты, Никодим, ты, Сергей, ты, Кирилл,
Вы все — обет примите мой духовный:
Прииду к вам преступник окаянный
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святой отец, припадши».
Так говорил державный государь,
И сладко речь из уст его лилася,
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.
А сын его Феодор? На престоле
Он воздыхал о мирном житие
Молчальника. Он царские чертоги
Преобратил в молитвенную келью;
Там тяжкие, державные печали
Святой души его не возмущали.
Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нем во славе безмятежной
Утешилась — а в час его кончины
Свершилось неслыханное чудо:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим патриархом.
И все кругом объаты были страхом,
Уразумев небесное виденье,
Зане святой владыка пред царем
Во храмине тогда не находился.
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем,
И лик его как солнце просиял —
Уж не видать такого нам царя.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.

Г р и г о р и й

Давно, честный отец,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия-царевича; в то время
Ты, говорят, был в Угличе.

П и м е н

Ох, помню!

Привел меня бог видеть злое дело,
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич
На некое был послан послушанье;
Пришел я в ночь. Наутро в час обедни
Вдруг слышу звон, ударили в набат,
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я
Спешу туда ж — а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный царевич;
Царица мать в беспамятстве над ним,
Кормилица в отчаянье рыдает,
А тут народ, остервенясь, волочит
Безбожную предательницу-мамку...
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен,
Является Иуда Битяговский.
«Вот, вот злодей!» — раздался общий вопль,
И вмиг его не стало. Тут народ
Вслед бросился бежавшим трем убийцам;
Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред теплый труп младенца,
И чудо — вдруг мертвец затрепетал.
«Покайтесь!» — народ им завопил:
И в ужасе под топором злодеи
Покаялись — и назвали Бориса.

Г р и г о р и й

Каких был лет царевич убиенный?

П и м е н

Да лет семи; ему бы ныне было
(Тому прошло уж десять лет... нет, больше:
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник
И царствовал; но бог судил иное.
Сей повестью плачевной заключу
Я летопись мою; с тех пор я мало
Вникал в дела мирские. Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просветил,
Тебе свой труд передаю. В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны —

А мне пора, пора уж отдохнуть
И погасить лампаду... Но звонят
К заутрене... благослови, господь,
Своих рабов... подай костыль, Григорий.

(Уходит.)

Григорий

Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца,—
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.

ПАЛАТЫ ПАТРИАРХА

Патриарх, игумен Чудова монастыря.

Патриарх

И он убежал, отец игумен?

Игумен

Убежал, святой владыко. Вот уж тому третий день.

Патриарх

Пострел, окаянный! Да какого он роду?

Игумен

Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей. Смолоду постригся неведомо где, жил в Суздале, в Ефимьевском монастыре, ушел оттуда, шатался по разным обителям, наконец пришел к моей чудовской братии, а я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал его под начал отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; и был он весьма грамотен: читал наши летописи, сочинял каноны святым; но, знать, грамота далася ему не от господа бога...

Патриарх

Уж эти мне грамотей! что еще выдумал! буду царем на Москве! Ах он, сосуд дьявольский! Однако нечего царю и докладывать об этом; что тревожить отца-государя? Довольно будет

объявить о побеге дьяку Смирнову али дьяку Ефимьеву; эдака ересь! буду царем на Москве!.. Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен.

Игумен

Ересь, святой владыко, сущая ересь.

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Два стольника.

Первый

Где государь?

Второй

В своей опочивальне
Он заперся с каким-то колдуном.

Первый

Так, вот его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи.—
Все ворожит, что красная невеста.
Желал бы знать, о чем гадают он?

Второй

Вот он идет. Угодно ли спросить?

Первый

Как он угрюм!

(Уходят.)

Царь (входит)

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся?..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попечение:
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огонь их дома истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее любви.
В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком —
Как буря, смерть уносит жениха...
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу,
Монахиню смиренную... всё я!
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.—
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ

Мисаил и Варлаам, бродяги-чернецы; Григорий
Отрепьев, мирянином; хозяйка.

Хозяйка

Чем-то мне вас потчевать, старцы честные?

Варлаам

Чем бог пошлет, хозяйюшка. Нет ли вина?

Хозяйка

Как не быть, отцы мои! сейчас вынесу.

(Уходит.)

Мисаил

Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добратся.

Григорий

Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.

Варлаам

Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил да я, грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: все нам равно, было бы вино... да вот и оно!..

Мисаил

Складно сказано, отец Варлаам.

Хозяйка *(входит)*

Вот вам, отцы мои. Пейте на здоровье.

Мисаил

Спасибо, родная, бог тебя благослови.

(Монахи пьют; Варлаам затягивает песню:

Как во городе было во Казани...)

Варлаам *(Григорию)*

Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?

Григорий

Не хочу.

Мисаил

Вольному воля...

Варлаам

А пьяному рай, отец Мисаил! Выпьем же чарочку за шинкарочку...

Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю; ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь жить, как мы, милости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу не товарищ.

Григорий

Пей да про себя разумей, отец Варлаам! Видишь: и я порой складно говорить умею.

Варлаам

А что мне про себя разуметь?

Мисаил

Оставь его, отец Варлаам.

Варлаам

Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда, — да еще и спесивится; может быть, кобылу нюхал...

(Пьет и поет: Молодой чернец постригся.)

Григорий (хозяйке)

Куда ведет эта дорога?

Хозяйка

В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.

Григорий

А далече ли до Луёвых гор?

Хозяйка

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Григорий

Как, заставы! что это значит?

Х о з я й к а

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

Г р и г о р и й (про себя)

Вот тебе, бабушка, Юрьев день.

В а р л а а м

Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка; дело, брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.

М и с а и л

Складно сказано, отец Варлаам...

Г р и г о р и й

Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?

Х о з я й к а

А господь его ведает, вор ли, разбойник — только здесь и добрым людям нынче прохода нет — а что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих да обируют нас бедных. *(Слышен шум.)* Что там еще? ах, вот они, проклятые! дозором идут.

Г р и г о р и й

Хозяйка! нет ли в избе другого угла?

Х о з я й к а

Нету, родимый. Рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходят, а подавай им и вина, и хлеба, и неведомо чего — чтоб им издохнуть, окаянными! чтоб им...

(Входят приставы.)

П р и с т а в

Здорово, хозяйка!

Х о з я й к а

Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим.

Один пристав (другому)

Ба! да здесь попойка идет; будет чем поживиться. (Монахам.) Вы что за люди?

Варлаам

Мы божии старцы, иноки смиренные, ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь.

Пристав (Григорию)

А ты?

Мисаил

Наш товарищ...

Григорий

Мирянин из пригорода; проводил старцев до рубежа, отселе иду восвояси.

Мисаил

Так ты раздумал...

Григорий (тихо)

Молчи.

Пристав

Хозяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со старцами попьем да побеседуем.

Другой пристав (тихо)

Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы...

Первый

Молчи, сейчас до них доберемся.— Что, отцы мои? каково промышляете?

Варлаам

Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда да и только.— Ох плохо, знать пришли наши последние времена...

Х о з я й к а (плачет)

Господь помилуй и спаси!

(В продолжение Варлаамовой речи первый пристав значительно всматривается в Мисаила.)

П е р в ы й п р и с т а в

Алеха! при тебе ли царский указ?

В т о р о й

При мне.

П е р в ы й

Подай-ка сюда.

М и с а и л

Что ты на меня так пристально смотришь?

П е р в ы й п р и с т а в

А вот что: из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев, слышал ли ты это?

М и с а и л

Не слышал.

П р и с т а в

Не слышал? ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это?

М и с а и л

Не знаю.

П р и с т а в (Варлааму)

Умеешь ли ты читать?

В а р л а а м

Смолоду знал, да разучился.

П р и с т а в (Мисаилу)

А ты?

М и с а и л

Не умудрил господь.

П р и с т а в

Так вот тебе царский указ.

М и с а и л

На что мне его?

П р и с т а в

Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник — ты.

М и с а и л

Я! помилуй! что ты?

П р и с т а в

Постой! держи двери. Вот мы сейчас и справимся.

Х о з я й к а

Ах, они окаянные мучители! и старца-то в покое не оставят!

П р и с т а в

Кто здесь грамотный?

Г р и г о р и й *(выступает вперед)*

Я грамотный.

П р и с т а в

Вот на! А у кого же ты научился?

Г р и г о р и й

У нашего пономаря.

П р и с т а в *(дает ему указ)*

Читай же вслух.

Г р и г о р и й *(читает)*

«Чудова монастыря недостойный чернец Григорий, из роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской...»

П р и с т а в *(Мисаилу)*

Как же не ты?

Г р и г о р и й

«И царь повелел изловить его...»

П р и с т а в

И повесить.

Г р и г о р и й

Тут не сказано повесить.



Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
(«Борис Годунов»)

Пристав

Врешь: не всяко слово в строку пишется. Читай: изловить и повесить.

Григорий

«И повесить. А лет ему вору Гришке от роду... (смотря на Варлаама) за 50. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое...»

(Все глядят на Варлаама.)

Первый пристав

Ребята! здесь Гришка! держите, вяжите его! Вот уж не думал, не гадал.

Варлаам *(вырывая бумагу)*

Отстаньте, сукины дети! что я за Гришка? — как! 50 лет, борода седая, брюхо толстое! нет, брат! молод еще надо мною шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит. *(Читает по складам.)* «А лет е-му от-ро-ду... 20». — Что, брат? где тут 50? видишь? 20.

Второй пристав

Да, помнится, двадцать. Так и нам было сказано.

Первый пристав *(Григорию)*

Да ты, брат, видно, забавник.

(Во время чтения Григорий стоит потупя голову, с рукою за пазухой.)

Варлаам *(продолжает)*

«А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». Да это, друг, уж не ты ли?

(Григорий вдруг вынимает кинжал; все перед ним расступаются, он бросается в окно.)

Приставы

Держи! держи!

(Все бегут в беспорядке.)

МОСКВА. ДОМ ШУЙСКОГО

Шуйский, множество гостей. Ужин.

Шуйский

Вина еще.

(Встает, за ним и все.)

Ну, гости дорогие,
Последний ковш! Читай молитву, мальчик.

Мальчик

Царю небес, везде и присно сущий,
Своих рабов молению внемли:
Помолимся о нашем государе,
Об избранном тобой, благочестивом
Всех христиан царе самодержавном.
Храни его в палатах, в поле ратном,
И на путях, и на одре ночлега.
Подай ему победу на враги,
Да славится он от моря до моря.
Да здравием цветет его семья,
Да осенят ее драгие ветви
Весь мир земной — а к нам, своим рабам,
Да будет он, как прежде, благодатен,
И милостив и долготерпелив,
Да мудрости его неистощимой
Пристекнут источники на нас;
И, царскую на то воздвигнув чашу,
Мы молимся тебе, царю небес.

Шуйский *(пьет)*

Да здравствует великий государь!
Простите же вы, гости дорогие;
Благодарю, что вы моей хлеб-солью
Не презрели. Простите, добрый сон.

(Гости уходят, он провожает их до дверей.)

Пушкин

Насилу убрались; ну, князь Василий Иванович, я уж думал,
что нам не удастся и переговорить.

Шуйский *(слугам)*

Вы что рот разинули? Всё бы вам господ подслушивать. Сбирайте со стола да ступайте вон. Что такое, Афанасий Михайлович?

Пушкин

Чудеса да и только.

Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне
Из Кракова гонца прислал сегодня.

Шуйский

Ну.

Пушкин

Странную племянник пишет новость.
Сын Грозного... постой.

(Идет к дверям и осматривает.)

Державный отрок,
По манию Бориса убиенный...

Шуйский

Да это уж не ново.

Пушкин

Погоди:

Димитрий жив.

Шуйский

Вот-на! какая весть!
Царевич жив! ну подлинно чудесно.
И только-то?

Пушкин

Послушай до конца.
Кто б ни был он, спасенный ли царевич,
Иль некий дух во образе его,
Иль смелый плут, бесстыдный самозванец,
Но только там Димитрий появился.

Шуйский

Не может быть.

Пушкин

Его сам Пушкин видел,
Как приезжал впервой он во дворец
И сквозь ряды литовских панов прямо
Шел в тайную палату короля.

Ш у й с к и й

Кто ж он такой? откуда он?

П у ш к и н

Не знают.

Известно то, что он слугою был
У Вишневецкого, что на одре болезни
Открылся он духовному отцу,
Что гордый пан, его проведав тайну,
Ходил за ним, поднял его с одра
И с ним потом уехал к Сигизмунду.

Ш у й с к и й

Что ж говорят об этом удалце?

П у ш к и н

Да слышно, он умен, приветлив, ловок,
По нраву всем. Московских беглецов
Обворожил. Латинские попы
С ним заодно. Король его ласкает
И, говорят, помогу обещал.

Ш у й с к и й

Все это, брат, такая кутерьма,
Что голова кругом пойдет неволью.
Сомненья нет, что это самозванец,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Весть важная! и если до народа
Она дойдет, то быть грозе великой.

П у ш к и н

Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержат венец на умной голове.
И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом, всенародно,
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там — в глуши голодна смерть иль петля.

Знатнейшие меж нами роды — где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнание.
Дай срок: тебе такая ж будет участь.
Легко ль, скажи! мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами;
Всё языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры.
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот — Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместьях своих.
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его; не смей переманить
Работника! — Не то, в Приказ холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Ш у й с к и й

Прав ты, Пушкин.

Но знаешь ли? Об этом обо всем
Мы помолчим до времени.

П у ш к и н

Вестимо,

Знай про себя. Ты человек разумный;
Всегда с тобой беседовать я рад,
И если что меня подчас тревожит,
Не вытерплю, чтоб не сказать тебе.
К тому ж твой мед да бархатное пиво
Сегодня так язык мне развязали...
Прощай же, князь.

Ш у й с к и й

Прощай, брат, до свиданья.

(Провожает Пушкина.)

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Царевич, чертит географическую карту. Царевна, мамка царевны.

Ксения (*целует портрет*)

Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте — а темной могилке на чужой сторонке. Никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать.

Мамка

И, царевна! девица плачет, что роса падет; взойдет солнце, росу высушит. Будет у тебя другой жених и прекрасный и приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь своего королевича.

Ксения

Нет, мамушка, я и мертвому буду ему верна.

(*Входит Борис.*)

Царь

Что, Ксения? что, милая моя?
В невестах уж печальная вдовица!
Все плачешь ты о мертвом женихе.
Дитя мое! судьба мне не судила
Виновником быть вашего блаженства.
Я, может быть, прогневал небеса,
Я счастье твое не мог устроить.
Безвинная, зачем же ты страдаешь? —
А ты, мой сын, чем занят? Это что?

Феодор

Чертеж земли московской; наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва,
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
Вот пермские дремучие леса,
А вот Сибирь.

Царь

А это что такое
Узором здесь виется?

Феодор

Это Волга.

Ц а р ь

Как хорошо! вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть
Всё царство вдруг: границы, грады, реки
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни —
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою.
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.

(Входит Семен Годунов.)

Вот Годунов идет ко мне с докладом.

(Ксении)

Душа моя, поди в свою светлицу;
Прости, мой друг. Утешь тебя господь.

(Ксения с мамкою уходит.)

Что скажешь мне, Семен Никитич?

Семен Годунов

Нынче
Ко мне, чем свет, дворецкий князь-Василья
И Пушкина слуга пришли с доносом.

Ц а р ь

Ну.

Семен Годунов

Пушкина слуга донес сперва,
Что поутру вчера к ним в дом приехал
Из Кракова гонец — и через час
Без грамоты отослан был обратно.

Ц а р ь

Гонца схватить.

Семен Годунов

Уж послано в догоню.

Ц а р ь

О Шуйском что?

Семен Годунов

Вечор он угощал
Своих друзей, обоих Милославских,
Бутурлиных, Михайла Салтыкова,
Да Пушкина — да несколько других;
А разошлись уж поздно. Только Пушкин
Наедине с хозяином остался
И долго с ним беседовал еще.

Царь

Сейчас послать за Шуйским.

Семен Годунов

Государь,

Он здесь уже.

Царь

Позвать его сюда.

(Годунов уходит.)

Царь

Сношения с Литвою! это что?..
Противен мне род Пушкиных мятежный,
А Шуйскому не должно доверять:
Уклончивый, но смелый и лукавый...

(Входит Шуйский.)

Мне нужно, князь, с тобою говорить.
Но кажется — ты сам пришел за делом:
И выслушать хочу тебя сперва.

Шуйский

Так, государь: мой долг тебе поведать
Весть важную.

Царь

Я слушаю тебя.

Шуйский *(тихо, указывая на Феодора)*

Но, государь...

Царь

Царевич может знать,
Что ведает князь Шуйский. Говори.

Ш у й с к и й

Царь, из Литвы пришла нам весть...

Ц а р ь

Не та ли,

Что Пушкину привез вечер гонец.

Ш у й с к и й

Все знает он! — Я думал, государь,
Что ты еще не ведаешь сей тайны.

Ц а р ь

Нет нужды, князь: хочу сообразить
Известия; иначе не узнаем
Мы истины.

Ш у й с к и й

Я знаю только то,
Что в Кракове явился самозванец
И что король и паны за него.

Ц а р ь

Что ж говорят? Кто этот самозванец?

Ш у й с к и й

Не ведаю.

Ц а р ь

Но... чем опасен он?

Ш у й с к и й

Конечно, царь: сильна твоя держава,
Ты милостью, раденьем и щедротой
Усыновил сердца своих рабов.
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Ей нравится бесстыдная отвага.
Так если сей неведомый бродяга
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя.

Ц а р ь

Димитрия!.. как? этого младенца!
Димитрия!.. Царевич, удались.

Ш у й с к и й

Он покраснел: быть буре!..

Ф е о д о р

Государь,

Дозволишь ли...

Ц а р ь

Нельзя, мой сын, поди.

(Феодор уходит.)

Димитрия!..

Ш у й с к и й

Он ничего не знал.

Ц а р ь

Послушай, князь: взять меры сей же час;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами; чтоб ни одна душа
Не перешла за эту грань; чтоб заяц
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон
Не прилетел из Кракова. Ступай.

Ш у й с к и й

Иду.

Ц а р ь

Постой. Не правда ль, эта вестъ
Затейлива? Слышал ли ты когда,
Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим патриархом?
Смешно? а? что? что ж не смеешься ты?

Ш у й с к и й

Я, государь?..

Ц а р ь

Послушай, князь Василий:
Как я узнал, что отрока сего...

Что отрок сей лишился как-то жизни,
Ты послан был на следствие; теперь
Тебя крестом и богом заклинаю,
По совести мне правду объяви:
Узнал ли ты убитого младенца
И не было ль подмена? Отвечай.

Ш у й с к и й

Клянусь тебе...

Ц а р ь

Нет, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то был царевич?

Ш у й с к и й

Он.

Ц а р ь

Подумай, князь. Я милость обещаю,
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь — тебя постигнет злая казнь:
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.

Ш у й с к и й

Не казнь страшна; страшна твоя немилость;
Перед тобой дерзну ли я лукавить?
И мог ли я так слепо обмануться,
Что не узнал Дмитрия? Три дня
Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровождаемый.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный;
Глубокая не запекалась язва,
Черты ж лица совсем не изменились.
Нет, государь, сомненья нет: Дмитрий
Во гробе спит.

Ц а р ь (спокойно)

Довольно; удались.

(Шуйский уходит.)

Ух, тяжело!.. дай дух переведу...
Я чувствовал: вся кровь моя в лицо
Мне кинулась — и тяжко опускалась...
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Все снилось убитое дитя!
Да, да — вот что! теперь я понимаю.
Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?
На призрак сей подуи — и нет его.
Так решено: не окажу я страха,—
Но презирать не должно ничего...
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

КРАКОВ. ДОМ ВИШНЕВЕЦКОГО

Самозванец и pater Черниковский.

Самозванец

Нет, мой отец, не будет затрудненья;
Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна.
Ручаюсь я, что прежде двух годов
Весь мой народ, вся северная церковь
Признают власть наместника Петра.

Pater

Вспомоществуй тебе святой Игнатий,
Когда придут иные времена.
А между тем небесной благодати
Таи в душе, царевич, семена.
Притворствоваться пред оглашенным светом
Нам иногда духовный долг велит;
Твои слова, деянья судят люди,
Намеренья единый видит бог.

Самозванец

Аминь. Кто там?

(Входит слуга.)

Сказать: мы принимаем.

(Отворяются двери; входит толпа
русских и поляков.)

Товарищи! мы выступаем завтра
Из Кракова. Я, Мнишек, у тебя
Остановлюсь в Самборе на три дня.
Я знаю: твой гостеприимный замок
И пышностью блистает благородной
И славится хозяйкой молодой.—
Прелестную Марину я надеюсь
Увидеть там. А вы, мои друзья,
Литва и Русь, вы, братские знамена
Поднявшие на общего врага,
На моего коварного злодея,
Сыны славян, я скоро поведу
В желанный бой дружины ваши грозны.—
Но между вас я вижу новы лица.

Г а в р и л а П у ш к и н

Они пришли у милости твоей
Просить меча и службы.

С а м о з в а н е ц

Рад вам, дети.

Ко мне, друзья.— Но кто, скажи мне, Пушкин,
Красавец сей?

П у ш к и н

Князь Курбский.

С а м о з в а н е ц

Имя громко!

(Курбскому)

Ты родственник казанскому герою?

К у р б с к и й

Я сын его.

С а м о з в а н е ц

Он жив еще?

К у р б с к и й

Нет, умер.

С а м о з в а н е ц

Великий ум! муж битвы и совета!
Но с той поры, когда являлся он,

Своих обид ожесточенный мститель,
С литовцами под ветхий город Ольгин,
Молва об нем умолкла.

К у р б с к и й

Мой отец

В Волынии провел остаток жизни,
В поместьях, дарованных ему
Баторием. Уединен и тих,
В науках он искал себе отрады;
Но мирный труд его не утешал:
Он юности своей отчизну помнил,
И до конца по ней он тосковал.

С а м о з в а н е ц

Несчастный вождь! как ярко просиял
Восход его шумящей, бурной жизни.
Я радуюсь, великородный витязь,
Что кровь его с отечеством мирится.
Вины отцов не должно вспоминать;
Мир гробу их! приближься, Курбский. Руку!
— Не странно ли? сын Курбского ведет
На трон, кого? да — сына Иоанна...
Всё за меня: и люди и судьба.—
Ты кто такой?

П о л я к

Собаньский, шляхтич вольный.

С а м о з в а н е ц

Хвала и честь тебе, свободы чадо!
Вперед ему треть жалованья выдать.—
Но эти кто? я узнаю на них
Земли родной одежду. Это наши.

Х р у щ о в (бьет челом)

Так, государь, отец наш. Мы твои
Усердные, гонимые холопья.
Мы из Москвы, опальные, бежали
К тебе, наш царь — и за тебя готовы
Главами лечь, да будут наши трупы
На царский трон ступенями тебе.

С а м о з в а н е ц

Мужайтесь, безвинные страдальцы —
Лишь дайте мне добраться до Москвы,

А там Борис расплатится во всем.
Ты кто?

К а р е л а

Казак. К тебе я с Дона послан
От вольных войск, от храбрых атаманов,
От казаков верховых и низовых,
Узреть твои царевы ясны очи
И кланяться тебе их головами.

С а м о з в а н е ц

Я знал донцов. Не сомневался видеть
В своих рядах казачьи бунчуки.
Благодарим Донское наше войско.
Мы ведаем, что ныне казаки
Неправедно притеснены, гонимы;
Но если бог поможет нам вступить
На трон отцов, то мы по старине
Пожалуем наш верный вольный Дон.

Поэт (*приближается, кланяясь низко
и хватая Гришку за полу*)

Великий принц, светлейший королевич!

С а м о з в а н е ц

Что хочешь ты?

Поэт (*подает ему бумагу*)

Примите благосклонно
Сей бедный плод усердного труда.

С а м о з в а н е ц

Что вижу я? Латинские стихи!
Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом полунощным,
Но мне знаком латинской музыки голос,
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Его ж они прославили заране!
Приблизься, друг. В мое воспоминанье
Прими сей дар.

(*Дает ему перстень.*)

Когда со мной свершится
Судьбы завет, когда корону предков
Надену я, надеюсь вновь услышать
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн.
Musa gloriam coronat, gloriaque musam ¹.
Итак, друзья, до завтра, до свиданья.

В с е

В поход, в поход! Да здравствует Димитрий,
Да здравствует великий князь московский!

ЗАМОК ВОЕВОДЫ МНИШКА В САМБОРЕ

Ряд освещенных комнат. Музыка.

Вишневецкий, Мнишек.

Мнишек

Он говорит с одной моей Мариной,
Мариною одною занят он...
А дело-то на свадьбу страх похоже;
Ну — думал ты, признайся, Вишневецкий,
Что дочь моя царицей будет? а?

Вишневецкий

Да, чудеса... и думал ли ты, Мнишек,
Что мой слуга взойдет на трон московский?

Мнишек

А какова, скажи, моя Марина?
Я только ей промолвил: ну, смотри!
Не упускай Димитрия!.. и вот
Всё кончено. Уж он в ее сетях.

*(Музыка играет польский. Самозванец
идет с Мариною в первой паре.)*

Марина *(тихо Димитрию)*

Да, ввечеру, в одиннадцать часов,
В аллее лип, я завтра у фонтана.

(Расходятся. Другая пара.)

¹ Муза венчает славу, а слава — музу (лат.).

К а в а л е р
Что в ней нашел Димитрий?

Д а м а
Как! она
Красавица.

К а в а л е р
Да, мраморная нимфа:
Глаза, уста без жизни, без улыбки...

(Новая пара.)

Д а м а
Он не красив, но вид его приятен,
И царская порода в нем видна.

(Новая пара.)

Д а м а
Когда ж поход?

К а в а л е р
Когда велит царевич,
Готовы мы; но, видно, панна Мнишек
С Димитрием задержит нас в плену.

Д а м а
Приятный плен.

К а в а л е р
Конечно, если вы...
(Расходятся. Комнаты пустеют.)

М н и ш е к
Мы, старики, уж нынче не танцуем,
Музыки гром не призывает нас,
Прелестных рук не жмем и не целуем —
Ох, не забыл старинных я проказ!
Теперь не то, не то, что прежде было:
И молодежь, ей-ей — не так смела,
И красота не так уж весела —
Признайся, друг: все как-то приуныло.
Оставим их; пойдем, товарищ мой,

Венгерского, обросшую травой,
Велим открыть бутылку вековую
Да в уголку потянем-ка вдвоем
Душистый ток, струю, как жир, густую,
А между тем посудим кой о чем.
Пойдем же, брат.

В и ш н е в е ц к и й

И дело, друг, пойдем.

НОЧЬ. САД. ФОНТАН

С а м о з в а н е ц (входит)

Вот и фонтан; она сюда придет.
Я, кажется, рожден не боязливым;
Перед собой вблизи видал я смерть,
Пред смертью душа не содрогалась.
Мне вечная неволя угрожала,
За мной гнались — я духом не смутился
И дерзостью неволи избежал.
Но что ж теперь теснит мое дыханье?
Что значит сей неодолимый трепет?
Иль это дрожь желаний напряженных?
Нет — это страх. День целый ожидал
Я тайного свидания с Мариной,
Обдумывал все то, что ей скажу,
Как обольщу ее надменный ум,
Как назову московскою царицей, —
Но час настал — и ничего не помню.
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье...
Но что-то вдруг мелькнуло... шорох... тише...
Нет, это свет обманчивой луны,
И прошумел здесь ветерок.

М а р и н а (входит)

Царевич!

С а м о з в а н е ц

Она!.. Вся кровь во мне остановилась.

М а р и н а

Димитрий! Вы?

С а м о з в а н е ц

Волшебный, сладкий голос!

(Идет к ней.)

Ты ль наконец? Тебя ли вижу я,
Одну со мной, под сенью тихой ночи?
Как медленно катился скучный день!
Как медленно заря вечерня гасла!
Как долго ждал во мраке я ночном!

М а р и н а

Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника. Слова не нужны. Верю,
Что любишь ты; но слушай: я решилась
С твоей судьбой и бурной и неверной
Соединить судьбу мою; то вправе
Я требовать, Дмитрий, одного:
Я требую, чтоб ты души своей
Мне тайные открыл теперь надежды,
Намеренья и даже опасенья;
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний легких мужа,
Наложница безмолвная твоя —
Но как тебя достойная супруга,
Помощница московского царя.

С а м о з в а н е ц

О, дай забыть хоть на единый час
Моей судьбы заботы и тревоги!
Забудь сама, что видишь пред собой
Царевича. Марина! зри во мне
Любовника, избранного тобою,
Счастливого твоим единым взором.
О, выслушай моления любви,
Дай высказать все то, чем сердце полно.

М а р и н а

Не время, князь. Ты медлишь — и меж тем
Приверженность твоих клеветов стынет,
Час от часу опасность и труды
Становятся опасней и труднее,
Уж носятся сомнительные слухи,

Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои приемлет меры...

С а м о з в а н е ц

Что Годунов? во власти ли Бориса
Твоя любовь, одно мое блаженство?
Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно
На трон его, на царственную власть.
Твоя любовь... что без нее мне жизнь,
И славы блеск, и русская держава?
В глухой степи, в землянке бедной — ты,
Ты заменишь мне царскую корону,
Твоя любовь...

М а р и н а

Стыдись; не забывай
Высокого, святого назначения:
Тебе твой сан дороже должен быть
Всех радостей, всех обольщений жизни,
Его ни с чем не можешь ты равнять.
Не юноше кипящему, безумно
Плененному моею красотой,
Знай: отдаю торжественно я руку
Наследнику московского престола,
Царевичу, спасенному судьбой.

С а м о з в а н е ц

Не мучь меня, прелестная Марина,
Не говори, что сан, а не меня
Избрала ты. Марина! ты не знаешь,
Как больно тем ты сердце мне язвишь —
Как! ежели... о страшное сомненье! —
Скажи: когда б не царское рожденье
Назначила слепая мне судьба;
Когда б я был не Иоаннов сын,
Не сей давно забытый миром отрок, —
Тогда б... тогда б любила ль ты меня?..

М а р и н а

Димитрий ты и быть иным не можешь;
Другого мне любить нельзя.

С а м о з в а н е ц

Нет! полно:
Я не хочу делиться с мертвецом
Любовницей, ему принадлежащей.

Нет, полно мне притворствовать! скажу
Всю истину; так знай же: твой Димитрий
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет;
А хочешь ли ты знать, кто я таков?
Изволь, скажу: я бедный черноризец;
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком, свой замысел отважный
Обдумал я, готовил миру чудо —
И наконец из келии бежал
К украинцам, в их буйные курени,
Владеть конем и саблей научился;
Явился к вам; Димитрием назвался
И поляков безмозглых обманул.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признанием моим?
Что ж ты молчишь?

М а р и н а

О стыд! о горе мне!

(Молчание.)

С а м о з в а н е ц (тихо)

Куда завлек меня порыв досады!
С таким трудом устроенное счастье
Я, может быть, навеки погубил.
Что сделал я, безумец? —

(Вслух.)

Вижу, вижу:

Стыдишься ты не княжеской любви.
Так вымолви ж мне роковое слово;
В твоих руках теперь моя судьба,
Реши: я жду (бросается на колени).

М а р и н а

Встань, бедный самозванец,
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочки доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умирить?
Ошибся, друг: у ног своих видала
Я рыцарей и графов благородных;
Но их мольбы я хладно отвергала
Не для того, чтоб беглого монаха...

С а м о з в а н е ц (встает)

Не презирай молодого самозванца;
В нем доблести таятся, может быть,
Достойные московского престола,
Достойные руки твоей бесценной...

М а р и н а

Достойные позорной петли, дерзкий!

С а м о з в а н е ц

Виновен я; гордыней обуянный,
Обманивал я бога и царей,
Я миру лгал; но не тебе, Марина,
Меня казнить; я прав перед тобою.
Нет, я не мог обманывать тебя.
Ты мне была единственной святыней,
Пред ней же я притворствовать не смел.
Любовь, любовь ревнивая, слепая,
Одна любовь принудила меня
Все высказать.

М а р и н а

Чем хвалится, безумец!

Кто требовал признанья твоего?
Уж если ты, бродяга безымянный,
Мог ослепить чудесно два народа,
Так должен уж по крайней мере ты
Достоин быть успеха своего
И свой обман отважный обеспечить
Упорною, глубокой, вечной тайной.
Могу ль, скажи, предаться я тебе,
Могу ль, забыв свой род и стыд девичий,
Соединить судьбу мою с твоею,
Когда ты сам с такою простотой,
Так ветрено позор свой обличаешь?
Он из любви со мною проболтался!
Дивлюся: как перед моим отцом
Из дружбы ты доселе не открылся,
От радости пред нашим королем
Или еще пред паном Вишневецким
Из верного усердия слуги.

С а м о з в а н е ц

Клянусь тебе, что сердца моего
Ты вымучить одна могла признание.

Клянусь тебе, что никогда, нигде,
Ни в пиршестве за чашею безумства,
Ни в дружеском, заветном разговоре,
Ни под ножом, ни в муках истязаний
Сих тяжких тайн не выдаст мой язык.

М а р и н а

Клянешься ты! итак, должна я верить —
О, верю я! — но чем, нельзя ль узнать,
Клянешься ты? не именем ли бога,
Как набожный приимыш езуитов?
Иль честию, как витязь благородный,
Иль, может быть, единым царским словом,
Как царский сын? не так ли? говори.

Д и м и т р и й (гордо)

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —
Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкою унижаться. —
Прощай навек. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширные заботы
Тоску любви, надеюсь, заглушат.
О как тебя я стану ненавидеть,
Когда пройдет постыдной страсти жар!
Теперь иду — погибель иль венец
Мою главу в России ожидает,
Найду ли смерть, как воин в битве честной,
Иль как злодей на плахе площадной,
Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мною;
Но — может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.

М а р и н а

А если я твой дерзостный обман
Заранее пред всеми обнаружу?

С а м о з в а н е ц

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что более поверят польской деве,
Чем русскому царевичу? — Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.

Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно, и тебя,
Мятежница! поверь, молчать заставят.
Прощай.

М а р и н а

Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.
С тобою, князь, она меня мирит.
Безумный твой порыв я забываю
И вижу вновь Димитрия. Но — слушай:
Пора, пора! проснись, не медли боле;
Веди полки скорее на Москву —
Очисти Кремль, садись на трон московский,
Тогда за мной шли брачного посла;
Но — слышит бог — пока твоя нога
Не оперлась на тронные ступени,
Пока тобой не свержен Годунов,
Любви речей не буду слушать я.

(Уходит.)

С а м о з в а н е ц

Нет — легче мне сражаться с Годуновым
Или хитрить с придворным езуитом,
Чем с женщиной — черт с ними; мочи нет.
И путает, и вьется, и ползет,
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея! змея! — Недаром я дрожал.
Она меня чуть-чуть не погубила.
Но решено: завтра двину рать.

ГРАНИЦА ЛИТОВСКАЯ

(1604 года, 16 октября)

Князь Курбский и Самозванец, оба верхами.
Полки приближаются к границе.

К у р б с к и й (*прискакав первый*)

Вот, вот она! вот русская граница!
Святая Русь, Отечество! Я твой!
Чужбины прах с презреньем отряхаю
С моих одежд — пью жадно воздух новый:

Он мне родной!.. теперь твоя душа,
О мой отец, утешится, и в гробе
Опальные возрадуются кости!
Блеснул опять наследственный наш меч,
Сей славный меч, гроза Казани темной,
Сей добрый меч, слуга царей московских!
В своем пиру теперь он загуляет.
За своего надёжу-государя!..

Самозванец (едет тихо с поникшей головой)

Как счастлив он! как чистая душа
В нем радостью и славой разыгралась!
О витязь мой! завидую тебе.
Сын Курбского, воспитанный в изгнание,
Забыв отцом снесенные обиды,
Его вину за гробом искупив,
Ты кровь излить за сына Иоанна
Готовишься; законного царя
Ты возвратить отечеству... ты прав,
Душа твоя должна пылать весельем.

Курбский

Ужель и ты не веселишься духом?
Вот наша Русь: она твоя, царевич.
Там ждут тебя сердца твоих людей:
Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава.

Самозванец

Кровь русская, о Курбский, потечет!
Вы за царя подъяли меч, вы чисты.
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!..
Но пусть мой грех падет не на меня —
А на тебя, Борис-цареубийца! —
Вперед!

Курбский

Вперед! и горе Годунову!

(Скачут. Полки переходят через границу.)

ЦАРСКАЯ ДУМА

Царь, патриарх и бояре.

Царь

Возможно ли? Расстрига, беглый инок
На нас ведет злодейские дружины,
Дерзает нам писать угрозы! Полно,
Пора смирить безумца! — Поезжайте
Ты, Трубецкой, и ты, Басманов: помочь
Нужна моим усердным воеводам.
Бунтовщиком Чернигов осажден.
Спасайте град и граждан.

Басманов

Государь,

Трех месяцев отныне не пройдет,
И замолчит и слух о самозванце;
Его в Москву мы привезем, как зверя
Заморского, в железной клетке. Богом
Тебе клянусь.

(Уходит с Трубецким.)

Царь

Мне свейский государь

Через послов союз свой предложил;
Но не нужна нам чуждая помощь;
Своих людей у нас довольно ратных,
Чтоб отразить изменников и ляха.
Я отказал.

Щелкалов! разослать

Во все концы указы к воеводам,
Чтоб на коня садились и людей
По старине на службу высылали;
В монастырях подобно отсбрать
Служителей причетных. В прежни годы.
Когда бедой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли.
Но не хотим тревожить ныне их;
Пусть молятся за нас они — таков
Указ царя и приговор боярский.
Теперь вопрос мы важный разрешим:
Вы знаете, что наглый самозванец
Коварные промчал повсюду слухи;
Повсюду им разосланные письма
Посеяли тревогу и сомненье;

На площадях мятежный бродит шепот,
Умы кипят... их нужно остудить;
Предупредить желал бы казни я,
Но чем и как? решим теперь. Ты первый,
Святой отец, свою поведай мысль.

П а т р и а р х

Благословен всевышний, поселивший
Дух милости и кроткого терпенья
В душе твоей, великий государь;
Ты грешнику погибели не хочешь,
Ты тихо ждешь — да пройдет заблуждение:
Оно пройдет, и солнце правды вечной
Всех озарит.

Твой верный богомолец,
В делах мирских не мудрый судия,
Дерзает днесь подать тебе свой голос.

Бесовский сын, расстрига окаянный,
Прослыть умел Димитрием в народе;
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать — и сам
Он наготой своею посрамится.

Сам бог на то нам средство посылает:
Знай, государь, тому прошло шесть лет —
В тот самый год, когда тебя господь
Благословил на царскую державу, —
В вечерний час ко мне пришел однажды
Простой пастух, уже маститый старец.
И чудную поведал он мне тайну.

«В молодых летах, — сказал он, — я ослеп
И с той поры не знал ни дня, ни ночи
До старости: напрасно я лечился
И зелием и тайным нашептанием;
Напрасно я ходил на поклоненье
В обители к великим чудотворцам;
Напрасно я из кладязей святых
Кропил водой целебной темны очи;
Не посылал господь мне исцеленья.
Вот наконец утратил я надежду
И к тьме своей привык, и даже сны
Мне виданных вещей уж не являли,
А снилися мне только звуки. Раз
В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: — Встань, дедушка, поди
Ты в Углич-град, в собор Преображенья;

Там помолись ты над моей могилкой,
Бог милостив — и я тебя прощу.
— Но кто же ты? — спросил я детский голос.
— Царевич я Дмитрий. Царь небесный
Приял меня в лик ангелов своих,
И я теперь великий чудотворец!
Иди, старик.— Проснулся я и думал:
Что ж? может быть, и в самом деле бог
Мне позднее дарует исцеленье.
Пойду — и в путь отправился далекий.
Вот Углича достиг я, прихожу
В святой собор, и слушаю обедню,
И, разгорясь душой усердной, плачу
Так сладостно, как будто слепота
Из глаз моих слезами вытекала.
Когда народ стал выходить, я внуку
Сказал: — Иван, веди меня на гроб
Царевича Дмитрия.— И мальчик
Повел меня — и только перед гробом
Я тихую молитву сотворил,
Глаза мои прозрели; я увидел
И божий свет, и внука, и могилку».
Вот, государь, что мне поведал старец.

*(Общее смущение. В продолжение сей речи
Борис несколько раз оттирает лицо платком.)*

Я посылал тогда нарочно в Углич,
И сведано, что многие страдальцы
Спасение подобно обретали
У гробовой царевича доски.
Вот мой совет: во Кремль святыя мощи
Перенести, поставить их в соборе
Архангельском; народ увидит ясно
Тогда обман безбожного злодея,
И мощь бесов исчезнет яко прах.

(Молчание.)

Князь Шуйский

Святой отец, кто ведает пути
Всевышнего? Не мне его судить.
Нетленный сон и силу чудотворства
Он может дать младенческим останкам,
Но надлежит народную молву
Исследовать прилежно и бесстрастно;

А в бурные ль смятений времена
Нам помышлять о столь великом деле?
Не скажут ли, что мы святыню дерзко
В делах мирских орудием творим?
Народ и так колеблется безумно,
И так уж есть довольно шумных толков:
Умы людей не время волновать
Нежданною, столь важной новизною.

Сам вижу я: необходимо слух,
Рассеянный расстригой, уничтожить;
Но есть на то иные средства — проще.
Так, государь, — когда изволишь ты,
Я сам явлюсь на площади народной,
Уговорю, усовещу безумство
И злой обман бродяги обнаружу.

Ц а р ь

Да будет так! Владыко патриарх,
Прошу тебя пожаловать в палату:
Сегодня мне нужна твоя беседа.

(Уходит. За ним и все бояре.)

Один боярин *(тихо другому)*

Заметил ты, как государь бледнел
И крупный пот с лица его закапал?

Д р у г о й

Я — признаюсь — не смел поднять очей,
Не смел вздохнуть, не только шевельнуться.

Первый боярин

А выручил князь Шуйский. Молодец!

РАВНИНА БЛИЗ НОВГОРОДА-СЕВЕРСКОГО

(1604 года, 21 декабря)

Битва.

В о и н ы *(бегут в беспорядке)*

Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! вот они!

(Входят капитаны Маржерет и Вальтер Розен.)

Маржерет

Куда, куда? Allons...¹ пошоль назад!

Один из беглецов

Сам пошоль, коли есть охота, проклятый басурман.

Маржерет

Quoi? quoi?²

Другой

Ква! ква! тебе любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича; а мы ведь православные.

Маржерет

Qu'est-ce à dire *pravoslavni*?.. Sacrés gueux, maudites canailles! Mordieu, mein herr, j'enrage: on dirait que ça n'a pas des bras pour frapper, ça n'a que des jambes pour foutre le camp³.

В. Розен

Es ist Schande⁴.

Маржерет

Ventre-saint-gris! Je ne bouge plus d'un pas — puisque le vin est tiré, il faut le boire. Qu'en dites-vous, mein herr?⁵

В. Розен

Sie haben Recht⁶.

Маржерет

Tudieu, il y fait chaud! Ce diable de Samozvanetz, comme ils l'appellent, est un bougre qui a du poil au cul. Qu'en pensez vous, mein herr?⁷

В. Розен

Oh, ja!⁸

¹ Ну... (франц.)

² Что? что? (франц.)

³ Что значит православные? Рвань окаянная, проклятая сволочь. Черт возьми, сударь, это меня приводит в бешенство: можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы улепетывать (франц.).

⁴ Позор! (нем.)

⁵ Чтоб им пусто было! Я не сдвинусь больше ни на шаг; дело начато, надо его кончать. Вы как думаете, сударь? (франц.)

⁶ Вы правы (нем.).

⁷ Черт подери, становится жарко! Этот дьявол Самозванец, как они его называют, настоящий рубака, сукин сын. Как вы считаете, сударь? (франц.)

⁸ О да! (нем.)

Маржерет

Hé! voyez donc, voyez donc! L'action s'engage sur les derrières de l'ennemi. Ce doit être le brave Basmanoff, qui aurait fait une sortie¹.

В. Розен

Ich glaube das².

(Входят немцы.)

Маржерет

Ha, ha! voici nos Allemands.— Messieurs!.. Mein herr, dites leur donc de se rallier et, sacrebleu, chargeons!³

В. Розен

Sehr gut. Halt!⁴

(Немцы строятся.)

Marsch!⁵

Немцы (идут)

Hilf Gott!⁶

(Сражение. Русские снова бегут.)

Ляхи

Победа! победа! Слава царю Димитрию.

Димитрий (верхом)

Ударить отбой! мы победили. Довольно: щадите русскую кровь. Отбой!

(Трубят, бьют барабаны.)

¹ Ага! глядите, глядите! Бой завязался в тылу неприятеля. Это, должно быть, молодец Басманов сделал вылазку (франц.).

² Я так полагаю (нем.).

³ Ага, ага! вот и наши немцы.— Господа!.. Сударь, скомандуйте им строиться, и, черт возьми, ударим! (франц.)

⁴ Очень хорошо. Стой! (нем.)

⁵ Марш! (нем.)

⁶ С нами бог! (нем.)

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ

Н а р о д.

О д и н

Скоро ли царь выйдет из собора?

Д р у г о й

Обедня кончилась; теперь идет молебствие.

П е р в ы й

Что? уж проклинали того?

Д р у г о й

Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил: Гришка Отрепьев — анафема!

П е р в ы й

Пускай себе проклинаят; царевичу дела нет до Отрепьева.

Д р у г о й

А царевичу поют теперь вечную память.

П е р в ы й

Вечную память живому! Вот ужо им будет, безбожникам.

Т р е т и й

Чу! шум. Не царь ли?

Ч е т в е р т ы й

Нет; это юродивый.

(Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками.)

М а л ь ч и ш к и

Николка, Николка — железный колпак!.. тр р р р р...

С т а р у х а

Отвяжитесь, бесенята, от блаженного.— Помолись, Николка, за меня грешную.

Ю р о д и в ы й

Дай, дай, дай копеечку.



*Постой, теперь я понимаю всё...
Ты женишься.*

(«Русалка»)

С т а р у х а

Вот тебе копеечка; помяни же меня.

Ю р о д и в ы й *(садится на землю и поет)*

Месяц светит,
Котенок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!

(Мальчишки окружают его снова.)

О д и н и з н и х

Здравствуй, Николка; что же ты шапки не снимаешь?
(Щелкает его по железной шапке.) Эх она звонит!

Ю р о д и в ы й

А у меня копеечка есть.

М а л ь ч и ш к а

Неправда! ну покажи.

(Вырывает копеечку и убегает.)

Ю р о д и в ы й *(плачет)*

Взяли мою копеечку; обижают Николку!

Н а р о д

Царь, царь идет.

*(Царь выходит из собора. Боярин впереди
раздает нищим милостыню. Бояре.)*

Ю р о д и в ы й

Борис, Борис! Николку дети обижают.

Ц а р ь

Подать ему милостыню. О чем он плачет?

Ю р о д и в ы й

Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как
зарезал ты маленького царевича.

Б о я р е

Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Ц а р ь

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.

(Уходит.)

Ю р о д и в ы й (ему вслед)

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит.

С Е В С К

С а м о з в а н е ц, окруженный своими.

С а м о з в а н е ц

Где пленный?

Л я х

Здесь.

С а м о з в а н е ц

Позвать его ко мне.

(Входит русский пленник.)

Кто ты?

П л е н н и к

Рожнов, московский дворянин.

С а м о з в а н е ц

Давно ли ты на службе?

П л е н н и к

С месяц будет.

С а м о з в а н е ц

Не совестно, Рожнов, что на меня

Ты поднял меч?

П л е н н и к

Как быть, не наша воля.

С а м о з в а н е ц

Сражался ты под Северским?

П л е н н и к
Я прибыл
Недели две по битве — из Москвы.

С а м о з в а н е ц
Что Годунов?

П л е н н и к
Он очень был встревожен
Потерею сражения и раной
Мстиславского, и Шуйского послал
Начальствовать над войском.

С а м о з в а н е ц
А зачем
Он отозвал Басманова в Москву?

П л е н н и к
Царь наградил его заслуги честью
И золотом. Басманов в царской Думе
Теперь сидит.

С а м о з в а н е ц
Он в войске был нужнее.
Ну что в Москве?

П л е н н и к
Всё, слава богу, тихо.

С а м о з в а н е ц
Что? ждут меня?

П л е н н и к
Бог знает; о тебе
Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову — такая, право, притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся, — глядь — лазутчик уж и вьется,
А государь досужною порою
Доносчиков допрашивает сам.
Как раз беда; так лучше уж молчать.

С а м о з в а н е ц
Завидна жизнь Борисовых людей!
Ну, войско что?

П л е н н и к

Что с ним? одето, сыто.
Довольно всем.

С а м о з в а н е ц

Да много ли его?

П л е н н и к

Бог ведает.

С а м о з в а н е ц

А будет тысяч тридцать?

П л е н н и к

Да наберешь и тысяч пятьдесят.

(Самозванец задумывается. Окружающие смотрят друг на друга.)

С а м о з в а н е ц

Ну! обо мне как судят в вашем стане?

П л е н н и к

А говорят о милости твоей,
Что ты, дескать (будь не во гнев), и вор,
А молодец.

С а м о з в а н е ц *(смеясь)*

Так это я на деле

Им докажу: друзья, не станем ждать
Мы Шуйского; я поздравляю вас:
Назавтра бой.

(Уходит.)

В с е

Да здравствует Димитрий!

Л я х

Назавтра бой! их тысяч пятьдесят,
А нас всего едва ль пятнадцать тысяч.
С ума сошел.

Д р у г о й

Пустое, друг: поляк
Один пятьсот москалей вызвать может.

П л е н н и к

Да, вызовешь. А как дойдет до драки,
Так убежишь от одного, хвастун.

Л я х

Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник,
То я тебя

(указывая на свою саблю)

вот этим бы смирил.

П л е н н и к

Наш брат русак без сабли обойдется:
Не хочешь ли вот этого *(показывая кулак)*,
безмозглый!

*(Лях гордо смотрит на него и молча отходит.
Все смеются.)*

Л Е С

Л ж е д и м и т р и й, П у ш к и н.

В отдалении лежит конь издыхающий.

Л ж е д и м и т р и й

Мой бедный конь! как бодро поскакал
Сегодня он в последнее сражение
И, раненный, как быстро нес меня
Мой бедный конь!

П у ш к и н *(про себя)*

Ну вот о чем жалеет!
Об лошади! когда все наше войско
Побито в прах.

С а м о з в а н е ц

Послушай, может быть,
От раны он лишь только заморился
И отдохнет.

П у ш к и н

Куда! он издыхает.

С а м о з в а н е ц (идет к своему коню)

Мой бедный конь!.. что делать? снять узду
Да отстегнуть подпругу. Пусть на воле
Издахнет он.

(Разуздывает и расседлывает коня.
Входят несколько ляхов.)

Здорово, господа!
Что ж Курбского не вижу между вами?
Я видел, как сегодня в гущу боя
Он врезался; тьмы сабель молодца,
Что зыбкие колосья, облепили;
Но меч его всех выше подымался,
А грозный клик все клики заглушал.
Где ж витязь мой?

Л я х

Он лег на поле смерти.

С а м о з в а н е ц

Честь храброму и мир его душе!
Как мало нас от битвы уцелело.
Изменники! злодеи-запорожцы,
Проклятые! вы, вы сгубили нас —
Не выдержать и трех минут отпора!
Я их ужо! десятого повешу,
Разбойники!

П у ш к и н

Кто там ни виноват,
Но все-таки мы начисто разбиты,
Истреблены.

С а м о з в а н е ц

А дело было наше;
Я было смял передовую рать —
Да немцы нас порядком отразили;
А молодцы! ей-богу, молодцы,
Люблю за то — из них уж непременно
Составлю я почетную дружину.

П у ш к и н

А где-то нам сегодня ночевать?

С а м о з в а н е ц

Да здесь в лесу. Чем это не ночлег?
Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске.
Спокойна ночь.

(Ложится, кладет седло под голову и засыпает.)

П у ш к и н

Приятный сон, царевич!
Разбитый в прах, спасаясь побегом,
Беспечен он, как глупое дитя;
Хранит его, конечно, провиденье;
И мы, друзья, не станем унывать.

МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Б о р и с, Б а с м а н о в.

Ц а р ь

Он побежден, какая польза в том?
Мы тщетною победой увенчались.
Он вновь собрал рассеянное войско
И нам со стен Путивля угрожает.
Что делают меж тем герои наши?
Стоят у Кром, где кучка казаков
Смеются им из-под гнилой ограды.
Вот слава! нет, я ими недоволен,
Пошлю тебя начальствовать над ними;
Не род, а ум поставлю в воеводы;
Пускай их спесь о местничестве тужит;
Пора презреть мне ропот знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.

Б а с м а н о в

Ах, государь, стократ благословен
Тот будет день, когда Разрядны книги
С раздорами, с гордыней родословной
Пожрет огонь.

Ц а р ь

День этот недалек;
Лишь дай сперва смятение народа
Мне усмирить.

Б а с м а н о в

Что на него смотреть;
Всегда народ к смятенью тайно склонен:
Так борзый конь грызет свои бразды;
На власть отца так отрок негодует;
Но что ж? конем спокойно всадник правит,
И отроком отец повелевает.

Ц а р ь

Конь иногда сбивает седока,
Сын у отца не вечно в полной воле.
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

(Входит боярин.)

Что?

Б о я р и н

Привели гостей иноплеменных.

Ц а р ь

Иду принять; Басманов, погоди.
Останься здесь: с тобой еще мне нужно
Поговорить.

(Уходит.)

Б а с м а н о в

Высокий дух державный.
Дай бог ему с Отрепьевым проклятым
Управиться, и много, много он
Еще добра в России сотворит.
Мысль важная в уме его родилась.
Не надобно ей дать остыть. Какое
Мне поприще откроется, когда
Он сломит рог боярству родовому!
Соперников во брани я не знаю;
У царского престола стану первый...
И может быть... Но что за чудный шум?

*(Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке
бегут, встречаются и шепчутся.)*

Один
За лекарем!

Другой
Скорее к патриарху.

Третий
Царевича, царевича зовет!

Четвертый
Духовника!

Басманов
Что сделалось такое?

Пятый
Царь занемог.

Шестой
Царь умирает.

Басманов

Боже!

Пятый
На троне он сидел и вдруг упал —
Кровь хлынула из уст и из ушей.

*(Царя выносят на стуле; все царское семейство,
все бояре.)*

Царь
Подите все — оставьте одного
Царевича со мною.

(Все удаляются.)

Умираю;
Обнимемся, прощай, мой сын: сейчас
Ты царствовать начнешь... о боже, боже!
Сейчас явлюсь перед тобой — и душу
Мне некогда очистить покаяньем.
Но чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья... так и быть!
Я подданным рожден, и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало;

Но я достиг верховной власти... чем?
Не спрашивай. Довольно: ты невинен,
Ты царствовать теперь по праву станешь.
Я, я за все один отвечу богу...
О милый сын, не обольщайся ложно,
Не ослепляй себя ты добровольно —
В дни бурные державу ты приемлешь:
Опасен он, сей чудный самозванец,
Он именем ужасным ополчен...
Я, с давних лет в правленье искушенный,
Мог удержать смятение и мятеж;
Передо мной они дрожали в страхе;
Возвысить глас измена не дерзала.
Но ты, молодой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, опутывать измену?
Но бог велик! Он умудряет юность,
Он слабости дарует силу... слушай:
Советника, во-первых, избери
Надежного, холодных, зрелых лет,
Любимого народом — а в боярах
Почтенного породой или славой —
Хоть Шуйского. Для войска нынче нужен
Искусный вождь: Басманова пошли
И с твердостью снеси боярский ропот.
Ты с малых лет сидел со мною в Думе,
Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав. Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял.
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская...
Будь милостив, доступен к иноземцам,
Доверчиво их службу принимай.
Со строгостью храни устав церковный;
Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.
О милый сын, ты входишь в те лета,
Когда нам кровь волнует женский лик.
Храни, храни святую чистоту

Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В молодые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет.
В семье своей будь завсегда главою;
Мать почитай, но властвуй сам собою —
Ты муж и царь; люби свою сестру,
Ты ей один хранитель остаешься.

Ф е о д о р (на коленях)

Нет, нет — живи и царствуй долговечно:
Народ и мы погибли без тебя.

Ц а р ь

Всё кончено — глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад...

*(Входит патриарх, святители, за ними все бояре.
Царицу ведут под руки, царица рыдает.)*

Кто там?

А! схима... так! святое пострижение...
Ударил час, в монахи царь идет —
И темный гроб моею будет кельей...
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще: внемлите вы, бояре:
Се тот, кому приказываю царство;
Целуйте крест Феодору... Басманов,
Друзья мои... при гробе вас молю
Ему служить усердием и правдой!
Он так еще и млад и непорочен...
Клянётесь ли?

Б о я р е

Клянемся.

Ц а р ь

Я доволен.

Простите ж мне соблазны и грехи
И вольные и тайные обиды...
Святой отец, приблизься, я готов.

*(Начинается обряд пострижения. Женщин
в обмороке выносят.)*

СТАВКА

Басманов вводит Пушкина.

Басманов

Войди сюда и говори свободно.
Итак, тебя ко мне он посылает?

Пушкин

Тебе свою он дружбу предлагает
И первый сан по нем в московском царстве.

Басманов

Но я и так Феодором высоко
Уж вознесен. Начальствую над войском,
Он для меня презрел и чин разрядный,
И гнев бояр — я присягал ему.

Пушкин

Ты присягал наследнику престола
Законному; но если жив другой,
Законнейший?..

Басманов

Послушай, Пушкин, полно,
Пустого мне не говори; я знаю,
Кто он такой.

Пушкин

Россия и Литва

Димитрием давно его признали,
Но, впрочем, я за это не стою.
Быть может, он Димитрий настоящий,
Быть может, он и самозванец. Только
Я ведаю, что рано или поздно
Ему Москву уступит сын Борисов.

Басманов

Пока стою за юного царя,
Дотоле он престола не оставит;
Полков у нас довольно, слава богу!
Победою я их одушевляю,
А вы, кого против меня пошлете?
Не казака ль Карелу? али Мнишка?
Да много ль вас, всего-то восемь тысяч.

Пушкин

Ошибся ты: и тех не наберешь —
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только селы грабят,
Что поляки лишь хвастают да пьют,
А русские... да что и говорить...
Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным.
Дмитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?
Ты видел сам, охотно ль ваши рати
Сражались с ним; когда же? при Борисе!
А нынче ль?.. Нет, Басманов, поздно спорить
И раздувать холодный пепел брани:
Со всем твоим умом и твердой волей
Не устоишь; не лучше ли тебе
Дать первому пример благоразумный,
Дмитрия царем провозгласить
И тем ему навеки удружить?
Как думаешь?

Басманов

Узнаете вы завтра.

Пушкин

Решись.

Басманов

Прощай.

Пушкин

Подумай же, Басманов.

(Уходит.)

Басманов

Он прав, он прав; везде измена зреет —
Что делать мне? Ужели буду ждать,
Чтоб и меня бунтовщики связали
И выдали Отрепьеву? Не лучше ль
Предупредить разрыв потока бурный

И самому... Но изменить присяге!
Но заслужить бесчестье в род и род!
Доверенность молодого венценосца
Предательством ужасным заплатить...
Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятеж и заговор,
Но мне ли, мне ль, любимцу государя...
Но смерть... но власть... но бедствия народны...

(Задумывается.)

Сюда! кто там?

(Свищет.)

Коня! трубите сбор.

ЛОБНОЕ МЕСТО

Пушкин идет, окруженный народом.

Н а р о д

Царевич нам боярина послал.
Послушаем, что скажет нам боярин.
Сюда! сюда!

Пушкин (на амвоне)

Московские граждане,
Вам кланяться царевич приказал.

(Кланяется.)

Вы знаете, как промысел небесный
Царевича от рук убийцы спас;
Он шел казнить злодея своего,
Но божий суд уж порастил Бориса.
Димитрию Россия покорилась;
Басманов сам с раскаяньем усердным
Свои полки привел ему к присяге.
Димитрий к вам идет с любовью, с миром.
В угод ли семейству Годуновых
Подымете вы руку на царя
Законного, на внука Мономаха?

Н а р о д

Вестимо, нет.

Пушкин

Московские граждане!

Мир ведает, сколь много вы терпели
Под властью жестокого пришельца:
Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
И труд, и глад — всё испытали вы.
Димитрий же вас жаловать намерен,
Бояр, дворян, людей приказных, ратных,
Гостей, купцов — и весь честной народ.
Вы ль станете упрямитесь безумно
И милостей кичливо убегать?
Но он идет на царственный престол
Своих отцов — в сопровожденье грозном.
Не гневайте ж царя и бойтесь бога.
Целуйте крест законному владыке;
Смиритесь, немедленно пошлите
К Димитрию во стан митрополита,
Бояр, дьяков и выборных людей,
Да бьют челом отцу и государю.

(Сходит. Шум народный.)

Н а р о д

Что толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий, наш отец!

М у ж и к н а а м в о н е

Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!

Н а р о д (несется толпою)

Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова!

КРЕМЛЬ. ДОМ БОРИСОВ. СТРАЖА У КРЫЛЬЦА

Ф е о д о р под окном.

Н и щ и й

Дайте милостыню, Христа ради!

С т р а ж а

Поди прочь, не велено говорить с заключенными.

Фео д о р

Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле.

(Ксения под покрывалом подходит также к окну.)

О д и н и з н а р о д а

Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.

Д р у г о й

Есть о ком жалеть? Проклятое племя!

П е р в ы й

Отец был злодей, а детки невинны.

Д р у г о й

Яблоко от яблони недалеко падает.

К с е н и я

Братец, братец, кажется, к нам бояре идут.

Фео д о р

Это Голицын, Мосальский. Другие мне незнакомы.

К с е н и я

Ах, братец, сердце замирает.

*(Голицын, Мосальский, Молчанов и Шереметевы.
За ними трое стрельцов.)*

Н а р о д

Расступитесь, расступитесь. Бояре идут.

(Они входят в дом.)

О д и н и з н а р о д а

Зачем они пришли?

Д р у г о й

А верно, приводить к присяге Феодора Годунова.

Т р е т и й

В самом деле? — слышишь, какой в доме шум! Тревога, дерутся...

Н а р о д

Слышишь? визг! — это женский голос — взойдем! — Двери заперты — крики замолкли.

(Отворяются двери. Мосальский является на крыльце.)

М о с а л ь с к и й

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. *(Народ в ужасе молчит.)* Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Н а р о д безмолвствует.

К О Н Е Ц





СКУПОЙ РЫЦАРЬ

(Сцены из Ченстоновой трагикомедии:
*The covetous knight*¹)

СЦЕНА I

В башне.

Альбер и Иван.

Альбер

Во что бы то ни стало на турнире
Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван.

(Иван подает ему шлем.)

Пробит насквозь, испорчен. Невозможно
Его надеть. Достать мне надо новый.
Какой удар! проклятый граф Делорж!

Иван

И вы ему порядком отплатили:
Как из стремян вы вышибли его,
Он сутки замертво лежал — и вряд ли
Оправился.

Альбер

А все ж он не в убытке;
Его нагрудник цел венецианский,

¹ Скупой рыцарь (англ.).

А грудь своя: гроша ему не стоит;
Другой себе не станет покупать.
Зачем с него не снял я шлема тут же!
А снял бы я, когда б не было стыдно
Мне дам и герцога. Проклятый граф!
Он лучше бы мне голову пробил.
И платье нужно мне. В последний раз
Все рыцари сидели тут в атласе
Да бархате; я в латах был один
За герцогским столом. Отговорился
Я тем, что на турнир попал случайно.
А нынче что скажу? О бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она!
Когда Делорж копьем своим тяжелым
Пробил мне шлем и мимо проскакал,
А я с открытой головой пришпорил
Эмира моего, помчался вихрем
И бросил графа на двадцать шагов,
Как маленького пажа; как все дамы
Привстали с мест, когда сама Клотильда,
Закрыв лицо, невольно закричала,
И славили герольды мой удар,—
Тогда никто не думал о причине
И храбрости моей и силы дивной!
Взбесился я за поврежденный шлем,
Геройству что виною было? — скупость.
Да! заразиться здесь не трудно ею
Под кровлею одной с моим отцом.
Что бедный мой Эмир?

И в а н

Он все хромает.

Вам выехать на нем еще нельзя.

А л ь б е р

Ну, делать нечего: куплю Гнедого.
Недорого и просят за него.

И в а н

Недорого, да денег нет у нас.

А л ь б е р

Что ж говорит бездельник Соломон?

И в а н

Он говорит, что более не может
В займы давать вам денег без залога.

А л ь б е р

Заклад! а где мне взять заклада, дьявол!

И в а н

Я сказывал.

А л ь б е р

Что ж он?

И в а н

Кряхтит да жметя.

А л ь б е р

Да ты б ему сказал, что мой отец
Богат и сам, как жид, что рано ль, поздно ль
Всему наследую.

И в а н

Я говорил.

А л ь б е р

Что ж?

И в а н

Жметя да кряхтит.

А л ь б е р

Какое горе!

И в а н

Он сам хотел прийти.

А л ь б е р

Ну, слава богу.

Без выкупа не выпущу его. (*Стучат в дверь.*)
Кто там? (*Входит жид.*)

Ж и д

Слуга ваш низкий.

А л ь б е р

А, приятель!

Проклятый жид, почтенный Соломон,
Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу,
Не веришь в долг.

Ж и д

Ах, милостивый рыцарь,
Клянусь вам: рад бы... право, не могу.

Где денег взять? весь разорился я,
Всё рыцарям усердно помогая.
Никто не платит. Вас хотел просить,
Не можете ль хоть часть отдать...

А л ь б е р

Разбойник!

Да если б у меня водились деньги,
С тобою стал ли б я возиться? Полно,
Не будь упрям, мой милый Соломон;
Давай червонцы. Высыпи мне сотню,
Пока тебя не обыскали.

Ж и д

Сотню!

Когда б имел я сто червонцев!

А л ь б е р

Слушай:

Не стыдно ли тебе своих друзей
Не выручать?

Ж и д

Клянусь вам...

А л ь б е р

Полно, полно.

Ты требуешь заклада? что за вздор!
Что дам тебе в заклад? свиную кожу?
Когда б я мог что заложить, давно
Уж продал бы. Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало?

Ж и д

Ваше слово,

Пока вы живы, много, много значит.
Все сундуки фламандских богачей
Как талисман оно вам отопрет.
Но если вы его передадите
Мне, бедному еврею, а меж тем
Умрете (боже сохрани), тогда
В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море.

А л ь б е р

Ужель отец меня переживет?

Ж и д

Как знать? дни наши сочтены не нами;
Цвел юноша вчерашний, а нынче умер,

И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.
Барон здоров. Бог даст — лет десять, двадцать
И двадцать пять, и тридцать проживет он.

А л ь б е р

Ты врешь, еврей: да через тридцать лет
Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги
На что мне пригодятся?

Ж и д

Деньги? — деньги

Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных
И не жалея шлет туда, сюда.
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их как зеницу ока.

А л ь б е р

О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит.
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной. В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, все бегаёт да лает.
А золото спокойно в сундуках
Лежит себе. Молчи! когда-нибудь
Оно послужит мне, лежать забудет.

Ж и д

Да, на бароновых похоронах
Прольется больше денег, нежели слез.
Пошли вам бог скорей наследство.

А л ь б е р

Amen! ¹

Ж и д

А можно б...

А л ь б е р

Что?

Ж и д

Так, думал я, что средство
Такое есть...

¹ Аминь! (лат.)

А л ь б е р
Какое средство?

Ж и д

Так —

Есть у меня знакомый старичок,
Еврей, аптекарь бедный...

А л ь б е р

Ростовщик,
Такой же, как и ты, иль почестнее?

Ж и д

Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной —
Он составляет капли... право, чудно,
Как действуют они.

А л ь б е р

А что мне в них?

Ж и д

В стакан воды подлить... трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.

А л ь б е р

Твой старичок торгует ядом.

Ж и д

Да —

И ядом.

А л ь б е р

Что ж? взаймы на место денег
Ты мне предложишь склянок двести яду,
За склянку по червонцу. Так ли, что ли?

Ж и д

Смеяться вам угодно надо мною —
Нет; я хотел... быть может, вы... я думал,
Что уж барону время умереть.

А л ь б е р

Как! отравить отца! и смел ты сыну...
Иван! держи его. И смел ты мне!..

Да знаешь ли, жидовская душа,
Собака, змей! что я тебя сейчас же
На воротах повешу.

Ж и д

Виноват!

Простите: я шутил.

А л ь б е р

Иван, веревку.

Ж и д

Я... я шутил. Я деньги вам принес.

А л ь б е р

Вон, пес! (*Жид уходит.*)

Вот до чего меня доводит
Отца родного скупость! Жид мне смел
Что предложить! Дай мне стакан вина,
Я весь дрожу... Иван, однако ж деньги
Мне нужны. Сбегай за жидом проклятым,
Возьми его червонцы. Да сюда
Мне принеси чернильницу. Я плуту
Расписку дам. Да не вводи сюда
Иуду этого... Иль нет, постой,
Его червонцы будут пахнуть ядом,
Как сребреники пращура его...
Я спрашивал вина.

И в а н

У нас вина —

Ни капли нет.

А л ь б е р

А то, что мне прислал
В подарок из Испании Ремон?

И в а н

Вечор я снес последнюю бутылку
Больному кузнецу.

А л ь б е р

Да, помню, знаю...

Так дай воды. Проклятое житье!
Нет, решено — пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставят
Меня держать как сына, не как мышь,
Рожденную в подполье.

СЦЕНА II

Подвал.

Б а р о н

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут. Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился — и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм — и с высоты его
Могу взирать на все, что мне подвластно.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смирненно будут ждать моей награды.
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне всё послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с мечя довольно
Сего сознанья... (*Смотрит на свое золото.*)

Кажется, не много,
А скольких человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий
Оно тяжеловесный представитель!

Тут есть дублон старинный... вот он. Нынче
Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях воя.
Шел дождь, и перестал, и вновь пошел,
Притворщица не трогалась; я мог бы
Ее прогнать, но что-то мне шептало,
Что мужнин долг она мне принесла
И не захочет завтра быть в тюрьме.
А этот? этот мне принес Тибо —
Где было взять ему, ленивцу, плуту?
Украл, конечно; или, может быть,
Там на большой дороге, ночью, в роще...
Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных. Но пора.

(Хочет отпереть сундук.)

Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.
Не страх (о, нет! кого бояться мне?
При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат), но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство...
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.

(Отпирает сундук.)

Вот мое блаженство!

(Всыпает деньги.)

Ступайте, полно вам по свету рыскать,
Служа страстям и нуждам человека.
Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах...
Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком,

И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды.

*(Зажигает свечи и отпирает сундуки
один за другим.)*

Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастье, в ней честь моя и слава!
Я царствую... но кто вослед за мной
Приимет власть над нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.
Украл ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет.
И потекут сокровища мои
В атласные диравые карманы.
Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит —
Он расточит... А по какому праву?
Мне разве даром это все досталось,
Или шутя, как игроку, который
Гремит костями да груды загребает?
Кто знает, сколько горьких воздержаний,
Обузданных страстей, тяжелых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Все это стоило? Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незванный гость, докучный собеседник,
Займодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?..
Нет, выстрадай сперва себе богатство,
А там посмотрим, станет ли несчастный
То расточать, что кровью приобрел.
О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!..

СЦЕНА III

Во дворце.

Альбер, герцог.

Альбер

Поверьте, государь, терпел я долго
Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,
Вы б жалобы моей не услышали.

Герцог

Я верю, верю: благородный рыцарь,
Таков, как вы, отца не обвинит
Без крайности. Таких развратных мало...
Спокойны будьте: вашего отца
Усовещу наедине, без шума.
Я жду его. Давно мы не видались.
Он был друг деду моему. Я помню,
Когда я был еще ребенком, он
Меня сажал на своего коня
И покрывал своим тяжелым шлемом,
Как будто колоколом. *(Смотрит в окно.)*
Это кто?

Не он ли?

Альбер

Так, он, государь.

Герцог

Подите ж
В ту комнату. Я кликну вас.

(Альбер уходит; входит барон.)

Барон,

Я рад вас видеть бодрым и здоровым.

Барон

Я счастлив, государь, что в силах был
По приказанью вашему явиться.

Герцог

Давно, барон, давно расстались мы.
Вы помните меня?

Б а р о н

Я, государь?

Я как теперь вас вижу. О, вы были
Ребенок резвый. Мне покойный герцог
Говаривал: Филипп (он звал меня
Всегда Филиппом), что ты скажешь? а?
Лет через двадцать, право, ты да я,
Мы будем глупы перед этим малым...
Пред вами, то есть...

Г е р ц о г

Мы теперь знакомство
Возобновим. Вы двор забыли мой.

Б а р о н

Стар, государь, я нынче: при дворе
Что делать мне? Вы молоды; вам любы
Турниры, праздники. А я на них
Уж не гожусь. Бог даст войну, так я
Готов, кряхтя, взлезть снова на коня;
Еще достанет силы старый меч
За вас рукой дрожащей обнажить.

Г е р ц о г

Барон, усердье ваше нам известно;
Вы деду были другом; мой отец
Вас уважал. И я всегда считал
Вас верным, храбрым рыцарем — но сядем.
У вас, барон, есть дети?

Б а р о н

Сын один.

Г е р ц о г

Зачем его я при себе не вижу?
Вам двор наскучил, но ему прилично
В его летах и званье быть при нас.

Б а р о н

Мой сын не любит шумной, светской жизни;
Он дикого и сумрачного нрава —
Вкруг замка по лесам он вечно бродит,
Как молодой олень.

Г е р ц о г

Нехорошо

Ему дичиться. Мы тотчас приучим
Его к весельям, к балам и турнирам.
Пришлите мне его; назначьте сыну
Приличное по званью содержанье...
Вы хмуритесь, устали вы с дороги,
Быть может?

Б а р о н

Государь, я не устал;
Но вы меня смутили. Перед вами
Я б не хотел сознаться, но меня
Вы принуждаете сказать о сыне
То, что желал от вас бы утаить.
Он, государь, к несчастью, недостоин
Ни милостей, ни вашего вниманья.
Он молодость свою проводит в буйстве,
В пороках низких...

Г е р ц о г

Это потому,
Барон, что он один. Уединенье
И праздность губят молодых людей.
Пришлите к нам его: он позабудет
Привычки, зарожденные в глуши.

Б а р о н

Простите мне, но, право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Г е р ц о г

Но почему ж?

Б а р о н

Увольте старика...

Г е р ц о г

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.

Б а р о н

На сына я

Сердит.

Г е р ц о г

За что?

Барон
За злое преступленье.

Герцог
А в чем оно, скажите, состоит?

Барон
Увольте, герцог...

Герцог
Это очень странно,
Или вам стыдно за него?

Барон
Да... стыдно...

Герцог
Но что же сделал он?

Барон
Он... он меня
Хотел убить.

Герцог
Убить! так я суду
Его предам, как черного злодея.

Барон
Доказывать не стану я, хоть знаю,
Что точно смерти жаждет он моей,
Хоть знаю то, что покушался он
Меня...

Герцог
Что?

Барон
Обокрасть.

(Альбер бросается в комнату.)

Альбер
Барон, вы лжете.

Герцог (сыну)
Как смели вы?..

Барон

Ты здесь! ты, ты мне смел!..
Ты мог отцу такое слово молвить!..
Я лгу! и перед нашим государем!..
Мне, мне... иль уж не рыцарь я?

Альбер

Вы лжец.

Барон

И гром еще не грянул, боже правый!
Так подыми ж, и меч нас рассуди!
(Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает.)

Альбер

Благодарю. Вот первый дар отца.

Герцог

Что видел я? что было предо мною?
Сын принял вызов старого отца!
В какие дни надел я на себя
Цепь герцогов! Молчите: ты, безумец,
И ты, тигренок! полно. (Сыну.) Бросьте это;
Отдайте мне перчатку эту (отымает ее).

Альбер (*a parte*¹)

Жаль.

Герцог

Так и впился в нее когтями! — изверг!
Подите: на глаза мои не смейте
Являться до тех пор, пока я сам
Не призову вас. (Альбер выходит.)

Вы, старик несчастный,
Не стыдно ль вам...

Барон

Простите, государь...
Стоять я не могу... мои колени
Слабеют... душно!.. душно!.. Где ключи?
Ключи, ключи мои!..

Герцог

Он умер. Боже!
Ужасный век, ужасные сердца!

¹ В сторону (лат.).



МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

СЦЕНА I

Комната.

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовью к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолею
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда

Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить; но в тишине, но втайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденные,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усиленным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом; успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — ниже, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.— О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
(Входит Моцарт.)

Моцарт

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя неожиданной шуткой угостить.

Сальери

Ты здесь! — Давно ль?

Моцарт

Сейчас. Я шел к тебе,

Нес кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрипку... Нет, мой друг, Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрипач в трактире
Разыгрывал *voi che sapete*¹. Чудо!
Не вытерпел, привел я скрипача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!

(Входит слепой старик со скрипкой.)

Из Моцарта нам что-нибудь!

(Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.)

Сальери

И ты смеяться можешь?

Моцарт

Ах, Сальери!

Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери

Нет.

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.
Пошел, старик.

Моцарт

Постой же: вот тебе,
Пей за мое здоровье.

(Старик уходит.)

Ты, Сальери,

Не в духе нынче. Я приду к тебе
В другое время.

¹ О, вы, кому известно (итал.) — начальные слова арии Керубино из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро».

С а л ь е р и

Что ты мне принес?

М о ц а р т

Нет — так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал. Хотелось
Твое мне слышать мнение; но теперь
Тебе не до меня.

С а л ь е р и

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

М о ц а р т (за фортепиано)

Представь себе... кого бы?
Ну хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

(Играет.)

С а л ь е р и

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостойн сам себя.

М о ц а р т

Что ж, хорошо?

С а л ь е р и

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

М о ц а р т

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

С а л ь е р и

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

М о ц а р т

Пожалуй;
Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.

(Уходит.)

С а л ь е р и

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою —
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хоть обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое — и наслажуся им...

Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

СЦЕНА II

Особая комната в трактире; фортепиано.

Моцарт и Сальери за столом.

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признаться,
Мой Requiem¹ меня тревожит.

Сальери

А!

Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

¹ Реквием (лат.) — музыка к похоронной церковной службе.

Моцарт

Так слушай.

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? На завтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара» сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...

Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

С а л ь е р и

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

М о ц а р т

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

С а л ь е р и

Ты думаешь?

(Бросает яд в стакан Моцарта.)

Ну, пей же.

М о ц а р т

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

(Пьет.)

С а л ь е р и

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?

М о ц а р т *(бросает салфетку на стол)*
Довольно, сыт я.

(Идет к фортепиано.)

Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.

(Играет.)

Ты плачешь?

С а л ь е р и

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...

Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

До свиданья.

(Один.)

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?





РУСАЛКА

БЕРЕГ ДНЕПРА. МЕЛЬНИЦА

Мельник, дочь его.

Мельник

Ох, то-то все вы, девки молодые,
Все глупы вы. Уж если подвернулся
К вам человек завидный, не простой,
Так должно вам его себе упрочить.
А чем? разумным, честным поведением;
Заманивать то строгостью, то лаской;
Порою исподволь обиняком
О свадьбе заговаривать, — а пуще
Беречь свою девическую честь —
Бесценное сокровище; она —
Что слово — раз упустишь, не воротишь.
А коли нет на свадьбу уж надежды,
То все-таки по крайней мере можно
Какой-нибудь барыш себе — иль пользу
Родным да выгадать; подумать надо:
«Не вечно ж будет он меня любить
И баловать меня». — Да нет! куда
Вам помышлять о добром деле! кстати ль?
Вы тотчас одуреете; вы рады
Исполнить даром прихоти его;
Готовы целый день висеть на шее

У милого дружка,— а милый друг
Глядь и пропал, и след простыл; а вы
Остались ни с чем. Ох, все вы глупы!
Не говорил ли я тебе сто раз:
Эй, дочь, смотри; не будь такая дура,
Не прозевай ты счастья своего,
Не упускай ты князя, да спроста
Не погуби самой себя.— Что ж вышло?..
Сиди теперь да вечно плачь о том,
Чего уж не воротишь.

Д о ч ь

Почему же
Ты думаешь, что бросил он меня?

М е л ь н и к

Как почему? да сколько раз, бывало,
В неделю он на мельницу ездил?
А? всякий божий день, а иногда
И дважды в день — а там все реже, реже
Стал приезжать — и вот девятый день,
Как не видали мы его. Что скажешь?

Д о ч ь

Он занят; мало ль у него заботы?
Ведь он не мельник — за него не станет
Вода работать. Часто он твердит,
Что всех трудов его труды тяжеле.

М е л ь н и к

Да, верь ему. Когда князя трудятся,
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да обижать соседей,
Да подговаривать вас, бедных дур.
Он сам работает, куда как жалко!
А за меня вода!.. а мне покою
Ни днем, ни ночью нет, а там посмотришь:
То здесь, то там нужна еще починка,
Где гниль, где течь. Вот если б ты у князя
Умела выпросить на перестройку
Хоть несколько деньжонок, было б лучше.

Д о ч ь

Ах!

Мельник

Что такое?

Дочь

Чу! Я слышу топот
Его коня... Он, он!

Мельник

Смотри же, дочь,
Не забывай моих советов, помни...

Дочь

Вот он, вот он!

(Входит князь. Конюший уводит его коня.)

Князь

Здорово, милый друг.
Здорово, мельник.

Мельник

Милостивый князь,
Добро пожаловать. Давно, давно
Твоих очей мы светлых не видали.
Пойду тебе готовить угощение.

(Уходит.)

Дочь

Ах, наконец ты вспомнил обо мне!
Не стыдно ли тебе так долго мучить
Меня пустым жестоким ожиданьем?
Чего мне в голову не приходило?
Каким себя я страхом не пугала?
То думала, что конь тебя занес
В болото или пропасть, что медведь
Тебя в лесу дремучем одолел,
Что болен ты, что разлюбил меня —
Но слава богу! жив ты, невредим,
И любишь все по-прежнему меня;
Не правда ли?

Князь

По-прежнему, мой ангел,
Нет, больше прежнего.

Любовница

Однако ты
Печален; что с тобою?

Князь

Я печален?
Тебе так показалось.— Нет, я весел
Всегда, когда тебя лишь вижу.

Она

Нет.

Когда ты весел, издали ко мне
Спешишь и кличешь: где моя голубка,
Что делает она? а там целуешь
И вопрошаешь: рада ль я тебе
И ожидала ли тебя так рано.
А нынче — слушаешь меня ты молча,
Не обнимаешь, не целуешь в очи,
Ты чем-нибудь встревожен, верно. Чем же?
Уж на меня не сердись ли ты?

Князь

Я не хочу притворствовать напрасно.
Ты права: в сердце я ношу печаль
Тяжелую — и ты ее не можешь
Ни ласками любовными рассеять,
Ни облегчить, ни даже разделить.

Она

Но больно мне с тобою не грустить
Одною грустью — тайну мне поведай.
Позволишь — буду плакать; не позволишь —
Ни слезкой я тебе не досажу.

Князь

Зачем мне медлить? чем скорей, тем лучше.
Мой милый друг, ты знаешь, нет на свете
Блаженства прочного: ни знатный род,
Ни красота, ни сила, ни богатство,
Ничто беды не может миновать.
И мы,— не правда ли, моя голубка?
Мы были счастливы; по крайней мере
Я счастлив был тобой, твоей любовью.
И что вперед со мною ни случится,
Где б ни был я, всегда я буду помнить

Тебя, мой друг; того, что я теряю,
Ничто на свете мне не заменит.

О н а

Я слов твоих еще не понимаю,
Но уж мне страшно. Нам судьба грозит,
Готовит нам неведомое горе,
Разлуку, может быть.

К н я з ь

Ты угадала.
Разлука нам судьбою суждена.

О н а

Кто нас разлучит? разве за тобою
Идти вослед я всюду не властна?
Я мальчиком оденусь. Верно буду
Тебе служить, дорогою, в походе
Иль на войне — войны я не боюсь —
Лишь видела б тебя. Нет, нет, не верю.
Иль выведать мои ты мысли хочешь,
Или со мной пустую шутку шутишь.

К н я з ь

Нет, шутки мне на ум нейдут сегодня,
Выведывать тебя не нужно мне,
Не снаряжаюсь я ни в дальний путь,
Ни на войну — я дома остаюсь,
Но должен я с тобой навек проститься.

О н а

Постой, теперь я понимаю всё...
Ты женишься.

(Князь молчит.)

Ты женишься!..

К н я з ь

Что делать?

Сама ты рассуди. Князья не вольны,
Как девицы — не по сердцу они
Себе подруг берут, а по расчетам
Иных людей, для выгоды чужой.
Твою печаль утешит бог и время.
Не забывай меня; возьми на память
Повязку — дай, тебе я сам надену.

Еще с собой привез я ожерелье —
Возьми его. Да вот еще: отцу
Я это посулил. Отдай ему.

(Дает ей в руки мешок с золотом.)

Прощай.

О н а

Постой; тебе сказать должна я
Не помню что.

К н я з ь

Припомни.

О н а

Для тебя
Я всё готова... нет, не то... Постой —
Нельзя, чтобы навеки в самом деле
Меня ты мог покинуть... Все не то...
Да!.. вспомнила: сегодня у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.

К н я з ь

Несчастная! как быть? хоть для него
Побереги себя; я не оставляю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Со временем, быть может, сам приеду
Вас навестить. Утешься, не крушися.
Дай обниму тебя в последний раз.

(Уходя.)

Ух! кончено — душе как будто легче.
Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо.

(Уходит. Она остается неподвижною.)

М е л ь н и к *(входит)*

Не угодно ль будет
Пожаловать на мельницу... да где ж он?
Скажи, где князь наш? ба, ба, ба! какая
Повязка! вся в каменьях дорогих!
Так и горит! и бусы!.. Ну, скажу:
Подарок царский. Ах он благодетель!

А это что? мошонка! уж не деньги ль?
Да что же ты стоишь, не отвечаешь,
Не вымолвишь словечка? али ты
От радости нежданной одурела,
Иль на тебя столбняк нашел?

Д о ч ь

Не верю,
Не может быть. Я так его любила.
Или он зверь? Иль сердце у него
Косматое?

М е л ь н и к

О ком ты говоришь?

Д о ч ь

Скажи, родимый, как могла его
Я прогневить? в одну недельку разве
Моя краса пропала? иль его
Отравой опоили?

М е л ь н и к

Что с тобою?

Д о ч ь

Родимый, он уехал. Вон он скачет! —
И я, безумная, его пустила,
Я за полы его не уцепилась,
Я не повисла на узде коня!
Пускай же б он с досады отрубил
Мне руки по локоть, пускай бы тут же
Он растоптал меня своим конем!

М е л ь н и к

Ты бредишь!

Д о ч ь

Видишь ли, князья не вольны,
Как девицы, не по́ сердцу они
Берут жену себе... а вольно им,
Небось, подманивать, божиться, плакать
И говорить: тебя я повезу
В мой светлый терем, в тайную светлицу
И наряжу в парчу и в бархат алый.
Им вольно бедных девушек учить
С полуночи на свист их подыматься

И до зари за мельницей сидеть.
Им любо сердце княжеское тешить
Бедами нашими, а там прощай,
Ступай, голубушка, куда захочешь,
Люби, кого замыслишь.

М е л ь н и к

Вот в чем дело.

Д о ч ь

Да кто ж его невеста? на кого
Он променял меня? уж я узнаю,
Я доберусь. Я ей скажу, злодейке:
Отстань от князя, — видишь, две волчихи
Не водятся в одном овраге.

М е л ь н и к

Дура!

Уж если князь берет себе невесту,
Кто может помешать ему? Вот то-то.
Не говорил ли я тебе...

Д о ч ь

И мог он,

Как добрый человек, со мной прощаться,
И мне давать подарки — каково! —
И деньги! выкупить себя он думал,
Он мне хотел язык засеребрить,
Чтоб не прошла о нем худая слава
И не дошла до молодой жены.
Да, бишь, забыла я — тебе отдать
Велел он это серебро, за то,
Что был хорош ты до него, что дочку
За ним пускал таскаться, что ее
Держал не строго... Впрок тебе пойдет
Моя погибель. (Отдает ему мешок.)

О т е ц (в слезах)

До чего я дожил!

Что бог привел услышать! Грех тебе
Так горько упрекать отца родного.
Одно дитя ты у меня на свете,
Одна отрада в старости моей.
Как было мне тебя не баловать?
Бог наказал меня за то, что слабо
Я выполнил отцовский долг.

Д о ч ь

Ох, душно!

Холодная змия мне шею давит...

Змеей, змеей опутал он меня,
Не жемчугом. (*Рвет с себя жемчуг.*)

М е л ь н и к

Опомнись.

Д о ч ь

Так бы я

Разорвала тебя, змею злодейку,
Проклятую разлучницу мою!

М е л ь н и к

Ты бредишь, право, бредишь.

Д о ч ь (*сымает с себя повязку*)

Вот венец мой,

Венец позорный! вот чем нас венчал

Лукавый враг, когда я отреклася

Ото всего, чем прежде дорожила.

Мы развенчались.— Сгинь ты, мой венец!

(*Бросает повязку в Днепр.*)

Теперь все кончено.

(*Бросается в реку.*)

С т а р и к (*падая*)

Ох, горе, горе!

КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ

Свадьба. М о л о д ы е сидят за столом.

Г о с т и, х о р де ву ш е к.

С в а т

Веселую мы свадебку сыграли.

Ну, здравствуй, князь с княгиней молодой.

Дай бог вам жить в любви да совете,

А нам у вас почаще пировать.

Что ж, красные девицы, вы примолкли?
Что ж, белые лебедушки, притихли?
Али все песенки вы перепели?
Аль горлышки от пенья пересохли?

Х о р

Сватушка, сватушка,
Бестолковый сватушка!
По невесту ехали,
В огород заехали,
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклонилися,
Верее молилися:
Верее ль, вереюшка,
Укажи дороженьку
По невесту ехать.
Сватушка, догадайся,
За мошоночку принимайся,
В мошне денежка шевелится,
К красным девушкам норовится.

С в а т

Насмешницы, уж выбрали вы песню!
На, на, возьмите, не корите свата.

(Дарит девушек.)

О д и н г о л о с

По камушкам, по желтому песочку
Пробегала быстрая речка,
В быстрой речке гуляют две рыбки,
Две рыбки, две малые плотицы.
А слышала ль ты, рыбка-сестрица,
Про вести-то наши, про речные?
Как вечер у нас красна девица топилась,
Утопая, мила друга проклинала.

С в а т

Красавицы! да это что за песня?
Она, кажись, не свадебная; нет.
Кто выбрал эту песню? а?

Д е в у ш к и

Не я —

Не я — не мы...

С в а т

Да кто ж пропел ее?

(Шепот и смятение между девушками.)

К н я з ь

Я знаю кто.

(Встает из-за стола и говорит тихо конюшему.)

Она сюда прокралась.
Скорее выведи ее. Да сведай,
Кто смел ее впустить.

(Конюший подходит к девушкам.)

К н я з ь *(садится, про себя)*

Она, пожалуй,
Готова здесь наделать столько шума,
Что со стыда не буду знать, куда
И спрятаться.

К о н ю ш и й

Я не нашел ее.

К н я з ь

Ищи. Она, я знаю, здесь. Она
Пропела эту песню.

Г о с т ь

Ай да мед!
И в голову и в ноги так и бьет —
Жаль, горек: подсластить его б не худо.

(Молодые целуются. Слышен слабый крик.)

К н я з ь

Она! вот крик ее ревнивый. *(Конюшему.)*
Что?

К о н ю ш и й

Я не нашел ее нигде.

К н я з ь

Дурак.

Д р у ж к о *(вставая)*

Не время ль нам княгиню выдать мужу
Да молодых в дверях осыпать хмелем?

(Все встают.)

С в а х а

Вестимо, время. Дайте ж петуха.

(Молодых кормят жареным петухом, потом осыпают хмелем — и ведут в спальню.)

С в а х а

Княгиня душенька, не плачь, не бойся,
Послушна будь.

(Молодые уходят в спальню, гости все расходятся, кроме свахи и дружка.)

Д р у ж к о

Где чарочка? Всю ночь
Под окнами я буду разъезжать,
Так укрепиться мне вином не худо.

С в а х а *(наливает ему чарку)*

На, кушай на здоровье.

Д р у ж к о

Ух! спасибо.
Все хорошо, не правда ль, обошлось?
И свадьба хоть куда.

С в а х а

Да, слава богу,
Все хорошо,— одно не хорошо.

Д р у ж к о

А что?

С в а х а

Да не к добру пропели песню
Не свадебную, а бог весть какую.

Д р у ж к о

Уж эти девушки — никак нельзя им
Не попоказить. Статочно ли дело
Мутить нарочно княжескую свадьбу.

Пойти-ка мне садиться на коня.
Прощай, кума. (Уходит.)

С в а х а

Ох, сердце не на месте!
Не в пору сладили мы эту свадьбу.

С В Е Т Л И Ц А

Княгиня и мамка.

Княгиня

Чу — кажется, трубят; нет, он не едет.
Ах, мамушка, как был он женихом,
Он от меня на шаг не отлучался,
С меня очей, бывало, не сводил.
Женился он, и все пошло не так.
Теперь меня ранешенько разбудит
И уж велит себе коня седлать;
Да до ночи бог ведает где ездит;
Воротится, чуть ласковое слово
Промолвит мне, чуть ласковой рукой
По белому лицу меня потреплет.

М а м к а

Княгинюшка, мужчина что петух:
Кири куку! мах-мах крылом и прочь.
А женщина, что бедная наседка:
Сиди себе да выводил цыплят.
Пока жених — уж он не насидится;
Ни пьет, ни ест, глядит не наглядится.
Женился — и заботы настают.
То надобно соседей навестить,
То на охоту ехать с соколами,
То на войну нелегкая несет,
Туда, сюда — а дома не сидится.

Княгиня

Как думаешь? уж нет ли у него
Зазнобы тайной?

М а м к а

Полно, не греши.
Да на кого тебя он променяет?

Ты всем взяла: красою ненаглядной,
Обычаем и разумом. Подумай:
Ну в ком ему найти, как не в тебе,
Сокровища такого?

Княгиня

Когда б услышал бог мои молитвы
И мне послал детей! К себе тогда б
Умела вновь я мужа привязать...
А! полон двор охотниками. Муж
Домой приехал. Что ж его не видно?

(Входит ловчий.)

Что князь, где он?

Ловчий

Князь приказал домой
Отъехать нам.

Княгиня

А где ж он сам?

Ловчий

Остался
Один в лесу на берегу Днепра.

Княгиня

И князя вы осмелились оставить
Там одного; усердные вы слуги!
Сейчас назад, сейчас к нему скачите!
Сказать ему, что я прислала вас.

(Ловчий уходит.)

Ах боже мой! в лесу ночной порою
И дикий зверь, и лютый человек,
И леший бродит — долго ль до беды.
Скорей зажги свечу перед иконой.

Мамка

Бегу, мой свет, бегу...

ДНЕПР. НОЧЬ

Русалки

Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна.
Любо нам порой ночью
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать
И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать.

Одна

Тише, тише! под кустами
Что-то кроется во мгле.

Другая

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле.

(Прячутся.)

Князь

Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы —
Вот мельница! Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул;
Стал жернов — видно, умер и старик.
Дочь бедную оплакал он недолго.
Тропинка тут вилась — она заглохла,
Давно-давно сюда никто не ходит;
Тут садик был с забором — неужели
Разросся он кудрявой этой рощей?
Ах, вот и дуб заветный, здесь она,
Обняв меня, поникла и умолкла...
Возможно ли?..

(Идет к деревьям, листья сыплются.)

Что это значит? листья,
Поблекнув, вдруг свернулись и с шумом
Посыпались как пепел на меня.

Передо мной стоит он гол и черен,
Как дерево проклятое.

(Входит старик, в лохмотьях и полунагой.)

Старик
Здорово,
Здорово, зять.

Князь
Кто ты?

Старик
Я здешний ворон.

Князь
Возможно ль? Это мельник.

Старик
Что за мельник!
Я продал мельницу бесам запечным,
А денежки отдал на сохраненье
Русалке, вещей дочери моей.
Они в песку Днепра-реки зарыты,
Их рыбка-одноглазка стережет.

Князь
Несчастный, он помешан. Мысли в нем
Рассеяны, как тучи после бури.

Старик
Зачем вечер ты не приехал к нам?
У нас был пир, тебя мы долго ждали.

Князь
Кто ждал меня?

Старик
Кто ждал? вестимо, дочь.
Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы
И волю вам даю: сиди она
С тобою хоть всю ночь, до петухов,
Ни слова не скажу я.

К н я з ь

Бедный мельник!

С т а р и к

Какой я мельник, говорят тебе,
Я ворон, а не мельник. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
В реку, я побежал за нею следом
И с той скалы прыгнуть хотел, да вдруг
Почувствовал, два сильные крыла
Мне выросли внезапно из-под мышек
И в воздухе сдержали. С той поры
То здесь, то там летаю, то клюю
Корову мертвую, то на могилке
Сижу да каркаю.

К н я з ь

Какая жалость!

Кто ж за тобою смотрит?

С т а р и к

Да, за мною
Присматривать не худо. Стар я стал
И шаловлив. За мной, спасибо, смотрит
Русалочка.

К н я з ь

Кто?

С т а р и к

Внучка.

К н я з ь

Невозможно

Понять его. Старик, ты здесь в лесу
Иль с голоду умрешь, иль зверь тебя
Заест. Не хочешь ли пойти в мой терем
Со мною жить?

С т а р и к

В твой терем? нет! спасибо!
Заманишь, а потом меня, пожалуй,

Удавишь ожерельем. Здесь я жив,
И сыт, и волен. Не хочу в твой терем.

(Уходит.)

Князь

И этому все я виною! Страшно
Ума лишиться. Легче умереть.
На мертвеца глядим мы с уваженьем,
Творим о нем молитвы. Смерть равняет
С ним каждого. Но человек, лишенный
Ума, становится не человеком.
Напрасно речь ему дана, не правит
Словами он, в нем брата своего
Зверь узнает, он людям в посмеянье,
Над ним всяк волен, бог его не судит.
Старик несчастный! вид его во мне
Раскаянья все муки растравил!

Ловчий

Вот он. Насилу-то его сыскали!

Князь

Зачем вы здесь?

Ловчий

Княгиня нас послала.
Она боялась за тебя.

Князь

Несносна
Ее заботливость! иль я ребенок,
Что шагу мне ступить нельзя без няньки?

(Уходит. Русалки показываются над водой.)

Русалки

Что, сестрицы? в поле чистом
Не догнать ли их скорей?
Плеском, хохотом и свистом
Не пугнуть ли их коней?

Поздно. Рощи потемнели,
Холодеет глубина,

Петухи в селе пропели,
Закатилась луна.

О д н а

Погодим еще, сестрица.

Д р у г а я

Нет, пора, пора, пора.
Ожидает нас царица,
Наша строгая сестра.

(Скрываются.)

ДНЕПРОВСКОЕ ДНО

Терем русалок.

(Русалки прядут около своей царицы.)

С т а р ш а я р у с а л к а

Оставьте пряжу, сестры. Солнце село.
Столбом луна блестит над нами. Полно,
Плывите вверх под небом поиграть,
Да никого не трогайте сегодня,
Ни пешехода щекотать не смейте,
Ни рыбакам их невод отягчать
Травой и тиной, ни ребенка в воду
Заманивать рассказами о рыбках.

(Входит русалочка.)

Где ты была?

Д о ч ь

На землю выходила
Я к дедушке. Все просит он меня
Со дна реки собрать ему те деньги,
Которые когда-то в воду к нам
Он побросал. Я долго их искала;
А что такое деньги, я не знаю.
Однако же я вынесла ему
Пригоршню ракушинок самоцветных.
Он очень был им рад.

Русалка

Безумный скряга!

Послушай, дочка. Нынче на тебя
Надеюсь я. На берег наш сегодня
Придет мужчина. Стереги его
И выдь ему навстречу. Он нам близок,
Он твой отец.

Дочь

Тот самый, что тебя
Покинул и на женщине женился?

Русалка

Он сам; к нему нежнее приласкайся
И расскажи всё то, что от меня
Ты знаешь про свое рождение; также
И про меня. И если спросит он,
Забыла ль я его иль нет, скажи,
Что всё его я помню и люблю
И жду к себе. Ты поняла меня?

Дочь

О, поняла.

Русалка

Ступай же.

(Одна.)

С той поры,
Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей,
Прошло семь долгих лет — я каждый день
О мщение помышляю...
И ныне, кажется, мой час настал.

БЕРЕГ

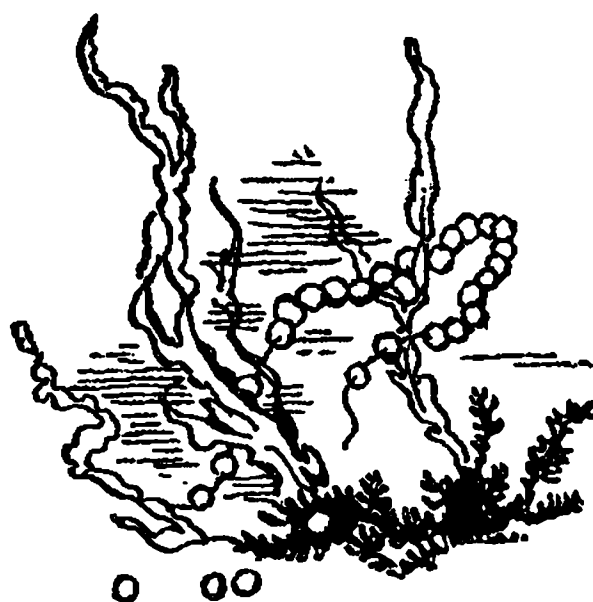
Князь

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила.
Все здесь напоминает мне бывшее

И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную повесть.
Здесь некогда любовь меня встречала,
Свободная, кипящая любовь;
Я счастлив был, безумец!.. и я мог
Так ветрено от счастья отказаться.
Печальные, печальные мечты
Вчерашняя мне встреча оживила.
Отец несчастный! как ужасен он!
Авось опять его сегодня встречу,
И согласится он оставить лес
И к нам переселиться...

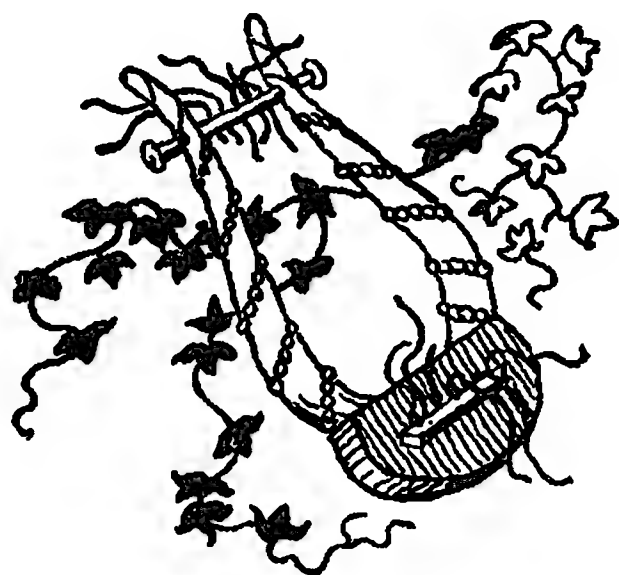
(Русалочка выходит на берег.)

Что я вижу?
Откуда ты, прекрасное дитя?



ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Роман в стихах



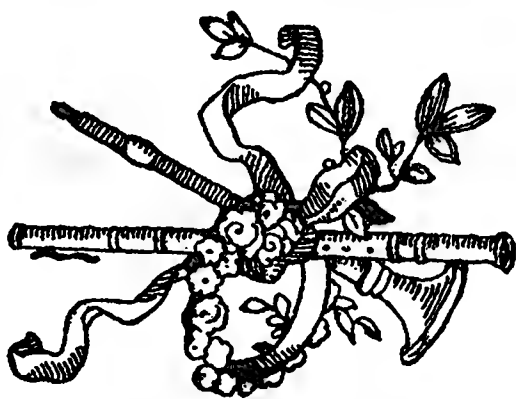


Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut être imaginaire.

*Tiré d'une lettre particulière*¹

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

¹ Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма (франц.).



ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится и чувствовать спешит.

Кн. Вяземский

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;

Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня (¹).

III

Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва *Madame* за ним ходила,
Потом *Monsieur* ¹ ее сменил.
Ребенок был резóв, но мил.
Monsieur l'Abbé ², француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как *dandy* (²) лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

V

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,

¹ *Madame* (франц.) — мадам (гувернантка, воспитательница); *monsieur* (франц.) — мосье (гувернер, воспитатель).

² *Monsieur l'Abbé* (франц.) — господин аббат.

У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить *vale*¹,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

VII

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконо́м,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

¹ Vale (лат.) — будь здоров.

VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень,—
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

IX

.
.
.

X

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!

XI

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,

Ловить минуту умиления,
Невинных лет предубеждения
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья...
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!

XII

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

XIII. XIV

.
.
.

XV

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,

Надев широкий боливар ⁽³⁾,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брежет
Не прозвонит ему обед.

XVI

Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К *Talon* ⁽⁴⁾ помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним *roast-beef* ¹ окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

XVII

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать *entrechat* ²,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

XVIII

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,

¹ Roast-beef (англ.) — ростбиф.

² Entrechat (франц.) — антраша, особый балетный прыжок.

Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С молодой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

XIX

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом вспоминать?

XX

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI

Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился — и зевнул.
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел» ⁽⁵⁾.

XXII

Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони,—
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

XXIII

Изобразу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтийским волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,

Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной,—
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом ⁽⁶⁾.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

XXV

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

XXVI

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;

Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но *панталоны, фрак, жилет,*
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.

XXVII

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал,
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян площадками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

XXVIII

Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.

XXIX

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

XXX

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладельный,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI

Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновение.
Давно ль для вас я забывал

И жажду славы и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зёркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

XXXIV

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;

Опять кипит воображение,
Опять ее прикосновение
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь!..
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

XXXV

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой *васисдас*.

XXXVI

Но, шумом бала утомленный
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра.
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
 Ему наскучил света шум;
 Красавицы не долго были
 Предмет его привычных дум;
 Измены утомить успели;
 Друзья и дружба надоели,
 Затем, что не всегда же мог
*Beef-steaks*¹ и страсбургский пирог
 Шампанской обливать бутылкой
 И сыпать острые слова,
 Когда болела голова;
 И хоть он был повеса пылкой,
 Но разлюбил он наконец
 И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
 Давно бы отыскать пора,
 Подобный английскому *сплину*,
 Короче: русская *хандра*
 Им овладела понемногу;
 Он застрелиться, слава богу,
 Попробовать не захотел,
 Но к жизни вовсе охладел.
 Как *Child-Harold*², угрюмый, томный
 В гостиных появлялся он;
 Ни сплетни света, ни бостон,
 Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
 Ничто не трогало его,
 Не замечал он ничего.

XXXIX. XL. XLI

.

XLII

Причудницы большого света!
 Всех прежде вас оставил он;

¹ Beef-steaks (англ.) — бифштекс.

² Child-Harold — Чайльд-Гарольд, герой поэмы Байрона «Странствования Чайльд-Гарольда».

И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама,
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор;
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин ⁽⁷⁾.

XLIII

И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой,
И вас покинул мой Евгений.
Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

XLIV

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

XLV

Условий света свергнув бремя,
 Как он, отстав от суеты,
 С ним подружился я в то время.
 Мне нравились его черты,
 Мечтам невольная преданность,
 Неподражательная странность
 И резкий, охлажденный ум.
 Я был озлоблен, он угрюм;
 Страстей игру мы знали оба;
 Томила жизнь обоих нас;
 В обоих сердца жар угас;
 Обоих ожидала злоба
 Слепой Фортуны и людей
 На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
 В душе не презирать людей;
 Кто чувствовал, того тревожит
 Призра́к невозвратимых дней:
 Тому уж нет очарований,
 Того змия воспоминаний,
 Того раскаянье грызет.
 Все это часто придает
 Большую прелесть разговору.
 Сперва Онегина язык
 Меня смущал; но я привык
 К его язвительному спору,
 И к шутке, с желчью пополам,
 И злости мрачных эпиграмм.

XLVII

Как часто летнею порою,
 Когда прозрачно и светло
 Ночное небо над Невою ⁽⁸⁾
 И вод веселое стекло
 Не отражает лик Дианы,
 Воспомня прежних лет романы,
 Воспомня прежнюю любовь,
 Чувствительны, беспечны вновь,
 Дыханьем ночи благосклонной
 Безмолвно упивались мы!

Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

XLVIII

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит ⁽⁹⁾.
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!

XLIX

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

L

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем ⁽¹⁰⁾, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.

Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный берег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей ⁽¹¹⁾,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Займодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалека
Кончину дяди старика.

LII

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань, готовую земле.

LIII

Нашел он полон двор услуги;
 К покойнику со всех сторон
 Съезжались недруги и други,
 Охотники до похорон.
 Покойника похоронили.
 Попы и гости ели, пили
 И после важно разошлись,
 Как будто делом занялись.
 Вот наш Онегин — сельский житель,
 Заводов, вод, лесов, земель
 Хозяин полный, а досель
 Порядка враг и расточитель,
 И очень рад, что прежний путь
 Переменил на что-нибудь.

LIV

Два дня ему казались новы
 Уединенные поля,
 Прохлада сумрачной дубровы,
 Журчанье тихого ручья;
 На третий роща, холм и поле
 Его не занимали боле;
 Потом уж наводили сон;
 Потом увидел ясно он,
 Что и в деревне скука та же,
 Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
 Ни карт, ни ба́лов, ни стихов.
 Хандра ждала его на страже,
 И бегала за ним она,
 Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
 Для деревенской тишины:
 В глуши звучнее голос лирный,
 Живее творческие сны.
 Досугам посвятяться невинным,
 Брожу над озером пустынным,
 И *far niente*¹ мой закон.
 Я каждым утром пробужден
 Для сладкой неги и свободы:

¹ *Far niente* (итал.) — безделье, праздность.

Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVІ

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

LVІІ

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?»

LVІІІ

Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»

И, други, никого, ей-богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

LIX

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.

LX

Я думал уж о форме плана,
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Цензуре долг свой заплачу,
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!



ГЛАВА ВТОРАЯ

О rus!..
Hor¹.
О Русь!

I

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

II

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Все это ныне обветшало,

¹ О деревня!.. (лат.) Гораций.

Не знаю, право, почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

III

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил;
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливки целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чужак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца

Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги,—
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Всё *да да нет*; не скажет *да-с*
Иль нет-с». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал:
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

VII

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.

VIII

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

IX

Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем;
И муз возвышенных искусства,
Счастливец, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туману даль,
И романтические розы;
Он пел те дальные страны,

Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

XI

В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни острою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.

XII

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За *полурусского соседа*;
Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!.. ⁽¹²⁾

XIII

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свести.

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья.

XIV

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал,—
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.

XV

Он слушал Ленского с улыбкой.
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор,—
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.

XVI

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм,
И снисходительный Евгений,
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

XVII

Но чаще занимали страсти
Умы пустынных моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья:
Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь — разлукой,
Вражду — злословием; порой
Зевал с друзьями и с женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял.

XVIII

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя
И нам становятся смешны
Их своеволие иль порывы
И запоздалые отзывы,—
Смиранные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.

Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

XIX

Зато и пламенная младость .
Не может ничего скрывать.
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаясь инвалидом,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

XX

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретою девственным огнем.

XXI

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;

В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседы, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

XXII

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

XXIII

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда, как утро, весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV

Ее сестра звалась Татьяна... ⁽¹³⁾
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещение не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство,— больше ничего.

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

XXVI

Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пальцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя

Приготавливается шутя
К приличию — закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

XXVII

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

XXVIII

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.

XXIX

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона, и Руссо.

Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.

XXX

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла ⁽¹⁴⁾;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еще жених
Ее супруг, но поневоле;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ее нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

XXXI

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девуцу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастью она ⁽¹⁵⁾.

XXXII

Привычка усладила горе,
Не отражимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

XXXIII

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский *Н* как *N* французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

XXXIV

Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.

Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.

XXXV

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.

XXXVI

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
*Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.*

XXXVII

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;

И долго сердцу грустно было.
«*Poor Yorick!*» ⁽¹⁶⁾ — молвил он уныло.—
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?..»
И, полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.

XXXVIII

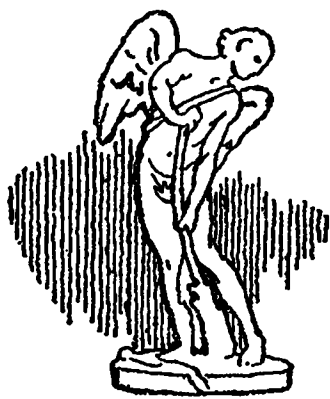
И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный...
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнью, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без не приметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Elle était fille, elle était amoureuse.

*Malfilâtre*¹

I

«Куда? Уж эти мне поэты!»
— Прощай, Онегин, мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
— У Лариных.— «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»
— Нимало.— «Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых (слушай, прав ли я?),
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор...»

II

— Я тут еще беды не вижу.
«Да скука, вот беда, мой друг».
— Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу...— «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,

¹ Она была девушка, она была влюблена. *Мальфилатр* (франц.).

И слез, и рифм *et cetera*?..¹
Представь меня». — Ты шутишь. — «Нету».
— Я рад. — «Когда же?» — Хоть сейчас.
Они с охотой примут нас.

III

Поедем. —

Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощения:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят воощаной
Кувшин с брусничною водой².

.
.
.
.
.
.

IV

Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор (¹⁷).
Теперь подслушаем украдкой
Героев наших разговор:
— Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. —
«Привычка, Ленский». — Но скучаешь
Ты как-то больше. — «Нет, равно.
Однако в поле уж темно;
Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка;
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.

¹ *Et cetera* (лат.) — и так далее.

² Окончание строфы сохранилось в рукописи:
«Несут на блюдечках варенья
С одною ложечкой для всех.
Иных занятий и утех
В деревне нет после обеда.
Поджавши руки, у дверей
Сбежались девушки скорей
Взглянуть на нового соседа,
И на дворе толпа людей
Критиковала их коией».

V

Скажи: которая Татьяна?»
 — Да та, которая грустна
 И молчалива, как Светлана,
 Вошла и села у окна.—
 «Неужто ты влюблен в меньшую?»
 — А что? — «Я выбрал бы другую,
 Когда б я был, как ты, поэт.
 В чертах у Ольги жизни нет.
 Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
 Кругла, красна лицом она,
 Как эта глупая луна
 На этом глупом небосклоне».
 Владимир сухо отвечал
 И после во весь путь молчал.

VI

Меж тем Онегина явление
 У Лариных произвело
 На всех большое впечатление
 И всех соседей развлекло.
 Пошла догадка за догадкой.
 Все стали толковать украдкой,
 Шутить, судить не без греха,
 Татьяне прочить жениха;
 Иные даже утверждали,
 Что свадьба слажена совсем,
 Но остановлена затем,
 Что модных колец не достали.
 О свадьбе Ленского давно
 У них уж было решено.

VII

Татьяна слушала с досадой
 Такие сплетни; но тайком
 С неизъяснимою отрадой
 Невольно думала о том;
 И в сердце дума заронилась;
 Пора пришла, она влюбилась.
 Так в землю падшее зерно
 Весны огнем оживлено.
 Давно ее воображенье,

Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,

VIII

И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Все полно им; все деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нем. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она
И проклиняет их досуги,
Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

IX

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон ⁽¹⁸⁾,
Который нам наводит сон,—
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

X

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов

Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

XI

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда несправедливо гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

XII

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар ⁽¹⁹⁾.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

XIII

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

XIV

Перескажу простые речи
Отца иль дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...
Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

XV

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:

Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искустель роковой.

XVI

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле деревьев
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

XVII

«Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне».
— Что, Таня, что с тобой? — «Мне скучно,
Поговорим о старине».
— О чем же, Таня? Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче все мне тёмно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая чередя!
Зашибло... — «Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»

XVIII

— И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.—

«Да как же ты венчалась, няня?»
— Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели.

ХІХ

И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня...—
«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..»
— Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь...— «Я не больна:
Я... знаешь, няня... влюблена».
— Дитя мое, господь с тобою! —
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

ХХ

«Я влюблена»,— шептала снова
Старушке с горестью она.
— Сердечный друг, ты нездорова.
«Оставь меня: я влюблена».
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распущенные волосы,
И капли слез, и на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке;
И все дремало в тишине
При вдохновительной луне.

XXI

И сердцем далеко носилась
Татьяна, смóтря на луну...
Вдруг мысль в уме ее родилась...
«Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мне перо, бумагу
Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости». И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет,
И все Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышит.
Письмо готово, сложено...
Татьяна! для кого ж оно?

XXII

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда ⁽²⁰⁾.
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на берегах Невы
Подобных дам видали вы.

XXIII

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым поведением
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь,
По крайней мере, сожаленьем,
По крайней мере, звук речей
Казался иногда нежней,

И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежал за милой суетой.

XXIV

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

XXV

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

XXVI

Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевести.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала

И выражалась с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялась по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

XXVII

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» ⁽²¹⁾ в руках!
Я шлюсь на вас, мои поэты;
Не правда ль: милые предметы,
Которым, за свои грехи,
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

XXVIII

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разезде на крыльце
С семинаристом в желтой шали
Иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенья,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье;
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

XXIX

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей

По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей;
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.
Но полно. Мне пора заняться
Письмом красавицы моей;
Я слово дал, и что ж? ей-ей,
Теперь готов уж отказаться.
Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни.

XXX

Певец Пиров и грусти томной ⁽²²⁾,
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

XXXI

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор,
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный,
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц:

*Письмо
Татьяны к Онегину*

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,

В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой улаживала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновение
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искушитель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...

XXXII

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке;
Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке.

К плечу головушкой склонилась.
Сорочка легкая спустилась
С ее прелестного плеча...
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснее. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро: встали все давно,
Моей Татьяне все равно.

XXXIII

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филиппьевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет,
Лицо твое как маков цвет».

XXXIV

— Ах, няня, сделай одолжение.—
«Изволь, родная прикажи».
— Не думай... право... подозренье...
Но видишь... ах! не откажи.—
«Мой друг, вот бог тебе порука».
— Итак, пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...
К соседу... да велеть ему,
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня...—
«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть;
Куда мне их и перечесть».

XXXV

— Как недогадлива ты, няня! —
 «Сердечный друг, уж я стара,
 Стара; тупеет разум, Таня;
 А то, бывало, я востра,
 Бывало, слово барской воли...»
 — Ах, няня, няня! до того ли?
 Что нужды мне в твоём уме?
 Ты видишь, дело о письме
 К Онегину. — «Ну дело, дело.
 Не гневайся, душа моя,
 Ты знаешь, непонятна я...
 Да что ж ты снова побледнела?»
 — Так, няня, право ничего.
 Пошли же внука своего.

XXXVI

Но день протек, и нет ответа.
 Другой настал: все нет как нет.
 Бледна, как тень, с утра одета,
 Татьяна ждет: когда ж ответ?
 Приехал Ольгин обожатель.
 «Скажите: где же ваш приятель? —
 Ему вопрос хозяйки был. —
 Он что-то нас совсем забыл».
 Татьяна, вспыхнув, задрожала.
 — Сегодня быть он обещал, —
 Старушке Ленский отвечал, —
 Да, видно, почта задержала. —
 Татьяна потупила взор,
 Как будто слыша злой укор.

XXXVII

Смеркалось; на столе, блистая,
 Шипел вечерний самовар,
 Китайский чайник нагревая;
 Под ним клубился легкий пар,
 Разлитый Ольгиной рукою,
 По чашкам темною струею
 Уже душистый чай бежал,
 И сливки мальчик подавал;
 Татьяна пред окном стояла,
 На стекла хладные дыша,
 Задумавшись, моя душа,

Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

XXXVIII

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью,
И, задыхаясь, на скамью

XXXIX

Упала...

«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»
В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон;
Она дрожит и жаром пышет,
И ждет: нейдет ли? Но не слышит.
В саду служанки, на грядках,
Сбирали ягоду в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!)

Песня девушек

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь, девицы,
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,

Заманите молодца
К хороводу нашему.
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.

XL

Они поют, и, с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...
Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Пленный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалика
В кусты припадшего стрелка.

XLI

Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею, прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилась она.
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

La morale est dans la nature des choses.

*Necker*¹

I. II. III. IV. V. VI
VII

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времен:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.

VIII

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!

¹ Нравственность — в природе вещей. Неккер (франц.).

Кого не утомят угрозы,
Моления, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слезы,
Надзоры теток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет.

X

В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут — мигом утешался;
Изменят — рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На вист вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

XI

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:

Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

XII

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый,—
То, верно б, кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блесков мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

XIV

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостойн я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.

XV

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

XVI

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз молодая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так, видно, небом суждено.

Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».

XVII

Так проповедовал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, *машинально*)
Татьяна молча оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вокруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то.
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

XVIII

Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель;
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и смяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.

XIX

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы,

На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

XX

Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно *родные*.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!

XXI

Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:
Над нею и средь бурь мятежных
Вы сохраняете права.
Конечно так. Но вихорь моды,
Но своенравие природы,
Но мненья светского поток...
А милый пол, как пух, легóк.
К тому ж и мнения супруга
Для добродетельной жены
Всегда почтенны быть должны;
Так ваша верная подруга
Бывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана.

XXII

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
Призра́ка суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.

XXIII

Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит;
Ее постели сон бежит;
Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало все, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

XXIV

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.

Невольно, милые мои,
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!

XXV

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.
Он вечно с ней.
В ее покое
Они сидят в потемках двое;
Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой;
И что ж? Любовью упоенный,
В смятенье нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.

XXVI

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан,
А между тем две, три страницы
(Пустые бредни, небылицы,
Опасные для сердца дев)
Он пропускает покраснев.
Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.

XXVII

Поедет ли домой: и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,



*...Татьяна пишет,
И все Евгений на уме...
(«Евгений Онегин»)*

Надгробный камень, храм Киприды,
Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья
Пониже подписи других
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Все тот же после многих лет.

XXVIII

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'écriterez-vous sur ces tablettes,
И подпись: *t. à v. Annette*¹;
А на последнем прочитаешь:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».

XXIX

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

¹ *Qu'écriterez-vous sur ces tablettes, t. à v. Annette...* (франц.) — Что вы напишете на этих листках? ...Вся ваша Аннета.

XXX

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto¹ подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

XXXI

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И, полны истины живой,
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь бог ведает кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

XXXII

Но тише! Слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий
И нашей братье рифмачам
Кричит: «Да перестаньте плакать
И всё одно и то же квакать,
Жалеть о *прежнем*, о *былом*:
Довольно, пойте о другом!»

¹ In-quarto — название большого книжного формата. «Свой in-quarto» — то есть свой альбом размера in-quarto.

— Ты прав и, верно, нам укажешь
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мертвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? — Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,

XXXIII

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»
— Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не все ль равно?
Припомни, что сказал сатирик!
«Чужого толка» хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей? —
«Но всё в элегии ничтожно;
Пустая цель ее жалка;
Меж тем цель оды высока
И благородна...» Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу:
Два века ссорить не хочу.

XXXIV

Поклонник славы и свободы,
В волненье бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрям, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.

XXXV

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,

Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

XXXVI. XXXVII

А что ж Онегин? Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятия
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом:
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...¹

XXXVIII. XXXIX

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,

¹ Окончание XXXVII строфы и XXXVIII строфа сохранились в рукописи:

«.....Только вряд
Вы носите такой наряд:

*

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку
И шляпу с кровлею, как дом
Подвижный. Сим убором чудным,
Безнравственным и безрассудным,
Была весьма огорчена
Псковская дама Дурина,
А с ней Мизинчиков,— Евгений,
Быть может, толки презирал,
А вероятно, их не знал,
Но всё ж своих обыкновений
Не изменил в угоду им,
За что был ближним нестерпим».

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город, и друзей,
И скуку праздничных затей.

XL

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

XLI

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева ⁽²³⁾
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

XLII

И вот уже трещат морозы
 И сереблятся средь полей...
 (Читатель ждет уж рифмы розы;
 На, вот возьми ее скорей!)
 Опрятней модного паркета
 Блится речка, льдом одета.
 Мальчишек радостный народ ⁽²⁴⁾
 Коньками звучно режет лед;
 На красных лапках гусь тяжелый,
 Задумав плыть по лону вод,
 Ступает бережно на лед,
 Скользит и падает; веселый
 Мелькает, вьется первый снег,
 Звездами падая на брег.

XLIII

В глуши что делать в эту пору?
 Гулять? Деревня той порой
 Невольно докучает взору
 Однообразной наготой.
 Скакать верхом в степи суровой?
 Но конь, притупленной подковой
 Неверный зацепляя лед,
 Того и жди, что упадет.
 Сиди под кровлею пустынной.
 Читай: вот Прадт, вот *W. Scott* ¹.
 Не хочешь? — поверяй расход,
 Сердись иль пей, и вечер длинный
 Кой-как пройдет, а завтра тож,
 И славно зиму проведешь.

XLIV

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом
 Вдался в задумчивую лень:
 Со сна садится в ванну со льдом
 И после, дома целый день,
 Один, в расчеты погруженный,
 Тупым киём вооруженный,
 Он на бильярде в два шара
 Играет с самого утра.

¹ W. Scott — Вальтер Скотт, знаменитый английский писатель начала XIX века.

Настанет вечер деревенский:
Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей;
Давай обедать поскорей!

XLV

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной;
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток и стихов,
И споров, и веселых снов!

XLVI

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я *Бордо* благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К *Аи* ⁽²⁵⁾ я больше не способен;
Аи любовнице подобен,
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, *Бордо*, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ всегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует *Бордо*, наш друг!

XLVII

Огонь потух; едва золою
Подернут уголь золотой;
Едва заметною струею
Виется пар, и теплотой

Камин чуть дышит. Дым из трубок
В трубу уходит. Светлый кубок
Еще шипит среди стола.
Вечерняя находит мгла...
(Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.)
Теперь беседуют друзья:

XLVIII

«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»
— Налей еще мне полстакана...
Довольно, милый... Вся семья
Здорова; кланяться велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!.. Когда-нибудь
Заедем к ним; ты их обяжешь;
А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Да вот... какой же я болван!
Ты к ним на той неделе зван.

XLIX

«Я?» — Да, Татьяны именины
В субботу. Оленька и мать
Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать.—
«Но куча будет там народу
И всякого такого сброду...»
— И, никого, уверен я!
Кто будет там? своя семья.
Поедем, сделай одолжение!
Ну что ж? — «Согласен». — Как ты мил! —
При сих словах он осушил
Стакан, соседки приношение,
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!

L

Он весел был. Чрез две недели
 Назначен был счастливый срок.
 И тайна брачныя постели
 И сладостной любви венок
 Его восторгов ожидали.
 Гимена хлопоты, печали,
 Зевоты хладная чреда
 Ему не снились никогда.
 Меж тем как мы, враги Гимена,
 В домашней жизни зрим один
 Ряд утомительных картин,
 Роман во вкусе Лафонтена... ⁽²⁶⁾
 Мой бедный Ленский, сердцем он
 Для оной жизни был рожден.

LI

Он был любим... по крайней мере
 Так думал он, и был счастлив.
 Стократ блажен, кто предан вере,
 Кто хладный ум угомонив,
 Покоится в сердечной неге,
 Как пьяный путник на ночлеге,
 Или, нежней, как мотылек,
 В весенний впившийся цветок;
 Но жалок тот, кто все предвидит,
 Чья не кружится голова,
 Кто все движенья, все слова
 В их переводе ненавидит,
 Чье сердце опыт остудил
 И забываться запретил!



ГЛАВА ПЯТАЯ

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!

Жуковский

I

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.

II

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегают дворовый мальчик,

В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

III

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекают:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег ⁽²⁷⁾;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой! ⁽²⁸⁾

IV

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозный,
И сани, и зарю поздней
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.

V

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.

Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,

VI

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалась,— тогда
В смятенье Таня торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случилось где-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

VII

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветренная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потеряв невозвратно;
И все равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.

VIII

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
*«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро,
Кому поем, тому добро
И слава!»* Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев ⁽²⁹⁾.

IX

Морозна ночь, все небо ясно:
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Чу... снег хрустит... прохожий; дева
К нему на цыпочках летит,
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? ⁽³⁰⁾ Смотрит он
И отвечает: Агафон.

X

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель

Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.

XI

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток;
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилась она.

XII

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? медведь за ней!

XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;

Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он все вослед,
И сил уже бежать ей нет.

XV

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, недохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж деревьев шалаш убогой;
Кругом все глушь; отовсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик, и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

XVII

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ! ⁽³¹⁾
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.

XVIII

Он знак подаст — и все хлопочут;
Он пьет — все пьют и все кричат;
Он засмеется — все хохочут;
Нахмурит брови — все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;

Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола, гремя, встает;
Все встали; он к дверям идет.

ХІХ

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указывает на нее,
И все кричат: мое! мое!

ХХ

Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталась во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает ⁽³²⁾
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.

ХХІ

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик

Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...
Глядит, уж в комнате светло;
В окно сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну, говорит, скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»

XXII

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин,
Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека ⁽³³⁾,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

XXIII

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной «Мальвиной»
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады,
Да Мармонтеля третий том.
Мартын Задека стал потом
Любимец Тани... Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

XXIV

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавление кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, метель
И прочая. Ее сомнений
Мартын Задека не решит;
Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.

XXV

Но вот багряною рукою ⁽³⁴⁾
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

XXVI

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком ⁽³⁵⁾

(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

XXVII

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
*Réveillez-vous, belle endormie*¹.
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха
И смело вместо *belle Nina*
Поставил *belle Tatiana*².

XXVIII

И вот из ближнего посада,
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музы́ка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране (³⁶);
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против; и, крестясь,
Толпа жужжит, за стол садясь.

XXIX

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон

¹ «Проснитесь, спящая красotka» — популярная французская песенка того времени.

² *Belle Nina* — красавица Нина, *belle Tatiana* — красавица Татьяна.

Гремят тарелки и приборы
Да рюмок раздается звон.
Но вскоре гости понемногу
Подъемлют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.
Вдруг двери настежь. Ленский входит
И с ним Онегин. «Ах, творец! —
Кричит хозяйка: — наконец!»
Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.

XXX

Сажают прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно, дурно;
Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.

XXXI

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слез
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но, девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.

XXXII

Конечно, не один Евгений
Смятение Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастью, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

XXXIII

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встает; пред ним собрание
Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.

XXXIV

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей;
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,

Невольно ль, иль из доброй воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

XXXV

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным обедом,
Сосед сопит перед соседом;
Подсели дамы к камельку;
Девуцы шепчут в уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовут зазорных игроков
Бостон и ломбер стариков,
И вист, доныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.

XXXVI

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменили;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет;
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

XXXVII. XXXVIII. XXXIX

Но чай несут; девушки чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чаю с ромом,

Парис¹ окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков,
К Татьяне Ленский; Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берет тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все,
И бал блестит во всей красе.

XL

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана
Бал петербургский описать;
Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

XLI

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том о сем;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.

XLII

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,

В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам
Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

XLIII. XLIV

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И, наклонясь, ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленский мой
Все видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.

XLV

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла...
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!
Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленский снести удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

La sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui l'morir non dole.

*Petrarca*¹

I

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.

II

Все успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.

¹ Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому не больно умирать. *Петрарка* (итал.).

Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объаты сном.
Одна, печальна под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.

III

Его неожиданным появлением,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведением
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто холодная рука.
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит...
«Погибну,— Таня говорит,—
Но гибель от него любезна,
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».

IV

Вперед, вперед, моя история!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доньше
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буйан,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

V

Бывало, льстивый голос света
В нем злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженьях попадал,

И то сказать, что и в сражение
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого сваясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Вери ⁽³⁷⁾
В долг осушать бутылки три.

VI

Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,

VII

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем,
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем.
*Sed alia tempora!*¹ Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту сажит, как Горацій,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

¹ *Sed alia tempora!* (лат.) — Но времена иные!

VIII

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том о сем.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним, и так нимало
Поутру не был удивлен,
Когда его увидел он.
Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, осклабя взор,
Вручил записку от поэта.
К окну Онегин подошел
И про себя ее прочел.

IX

То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль картель:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он *всегда* готов.
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.

X

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был не прав,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил ввечор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,

Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

XI

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело...
К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шепот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мнение! ⁽³⁸⁾
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

XII

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждет поэт;
И вот сосед велеречивый
Привез торжественно ответ.
Теперь ревнивцу то-то праздник!
Он все боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг на друга курок
И метить в ляжку иль в висок.

XIII

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел
Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,

Махнул рукою напоследок —
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,
На встречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

XIV

«Зачем вечер так рано скрылись?»
Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти здоров...

XV. XVI. XVII

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгою своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

XVIII

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

XIX

Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды
И брал на них одни аккорды,
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так. — И на крыльцо.

XX

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,



Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно...
(«Евгений Онегин»)

Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.

XXI

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

XXII

Блеснет завтра луч денницы,
И заиграет яркий день;
А я — быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»

XXIII

Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нисколько
Не вижу я; да что нам в том?)

И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин, верно, ждет уж нас».

XXIV

Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мертвым сном.
Уже редуют ночи тени
И встречен Вesper петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко,
И перелетная метель
Блестит и вьется; но постель
Еще Евгений не покинул,
Еще над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит — и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.

XXV

Он поскорей звонит. Вбегает
К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает
И подает ему белье.
Спешит Онегин одеваться,
Слуге велит приготовляться
С ним вместе ехать и с собой
Взять также ящик боевой.
Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит
Лепажу ⁽³⁹⁾ стволы роковые
Нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам.

XXVI

Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жернов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же,— молвил с изумленьем
Зарецкий,— где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял — не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).

XXVII

«Мой секундант? — сказал Евгений,—
Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй,—
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

XXVIII

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапéзу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...

Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтись ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Бойтся ложного стыда.

XXIX

Вот пистолеты уж блеснули.
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пенъ
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет.

XXXI

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.

Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет ранен;
Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь,—
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами, с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит», — решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,

И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

XXXVIII. XXXIX

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

XL

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!

Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

ХLI

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбарей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провожая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним останавливает,
Ремянный повод натянув,
И, флёр от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.

ХLII

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погружаясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудаки,
Убийца юного поэта?»
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,

XLIII

Но не теперь. Хоть я сердечно
 Люблю героя моего,
 Хоть возвращусь к нему, конечно,
 Но мне теперь не до него.
 Лета к суровой прозе клонят,
 Лета шалунию рифму гонят,
 И я — со вздохом признаюсь —
 За ней ленивей волочусь.
 Перу старинной нет охоты
 Марать летучие листы;
 Другие, хладные мечты,
 Другие, строгие заботы
 И в шуме света и в тиши
 Тревожат сон моей души.

XLIV

Познал я глас иных желаний,
 Познал я новую печаль;
 Для первых нет мне упований,
 А старой мне печали жаль.
 Мечты, мечты! где ваша сладость?
 Где, вечная к ней рифма, *младость?*
 Ужель и вправду наконец
 Увял, увял ее венец?
 Ужель и впрям и в самом деле
 Без элегических затей
 Весна моих промчалась дней
 (Что я шутя твердил доселе)?
 И ей ужель возврата нет?
 Ужель мне скоро тридцать лет?

XLV

Так, полдень мой настал, и нужно
 Мне в том сознаться, вижу я.
 Но так и быть: простимся дружно,
 О юность легкая моя!
 Благодарю за наслажденья,
 За грусть, за милые мученья,
 За шум, за бури, за пиры,
 За все, за все твои дары;
 Благодарю тебя. Тобою,
 Среди тревог и в тишине,

Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

XLVI

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображение,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья! ⁽⁴⁰⁾



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?

Дмитрисв

Как не любить родной Москвы?

Баратынский

Гоненье на Москву! что значит видеть свет!
Где ж лучше?

Где нас нет.

Грибоедов

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

II

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умилением
Я наслаждаюсь дуновеньем

В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслаждение,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блеснит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

III

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем душою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне...

IV

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина ⁽⁴¹⁾ птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжело нагруженных,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

V

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной

Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдемте слушать шум дубравный
Над безыменною рекой
В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылый,
Еще недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой,
Но где его теперь уж нет...
Где грустный он оставил след.

VI

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек,
Виясь, бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой,—
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»

VII

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне... памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.

VIII. IX. X

Мой бедный Ленский! изнывая,
Не долго плакала она,
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою...
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.

XI

Мой бедный Ленский! за могилой
В пределах вечности глухой
Смутился ли, певец унылый,
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..
Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

XII

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;
Лишь смертной бледностью покрылось
Ее печальное лицо.

Когда все вышли на крыльцо,
И всё, прощаясь, суетилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.

XIII

И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед...
И вот одна, одна Татьяна!
Увы! подруга стольких лет,
Ее голубка молодая,
Ее наперсница родная,
Судьбою вдаль занесена,
С ней навсегда разлучена.
Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад...
Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам —
И сердце рвется пополам.

XIV

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб... но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят... На что грустить?..

XV

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал

Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильнее.

XVI

Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают...
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор...
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.

XVII

«Увидеть барский дом нельзя ли?» —
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «А вот камин;
Здесь барин сиживал один.

XVIII

Здесь с ним обедал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйста, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофе́й кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»

XIX

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И грудa книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,

Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтение разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

XXIII

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.

Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль ещё
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

XXV

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собрались два соседа
И где об ней идет беседа.
— Как быть? Татьяна не дитя, —
Старушка молвила кряхтя. —
Ведь Оленька ее моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора; а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И все грустит она
Да бродит по лесам одна.

XXVI

«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь.—
«Что ж, матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».
— Ох, мой отец! доходу мало.—
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам хоть я займы».

XXVII

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой;
Сочлась — и тут же положила
В Москву отправиться зимой.
И Таня слышит новость эту.
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты,
И запоздалые наряды,
И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей
Привлечь насмешливые взгляды!..
О страх! нет, лучше и верней
В глуши лесов остаться ей.

XXVIII

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет

На шум блистательных сует...
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»

XXIX

Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Останавлиют поневоле
Татьяну прелестью своей,
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняли пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI

Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.

Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,

XXXII

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит фореитор бородатый,
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей.

XXXIII

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут,
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

XXXIV

Теперь у нас дороги плохи ⁽⁴²⁾,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колени
И рвы отеческой земли.

XXXV

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теща праздный взор,
В глазах мелькают, как забор ⁽⁴³⁾.
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладились
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

XXXVI

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церковей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

XXXVII

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX. XL

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,

Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь,
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.

ХLI

— Княжна, mon ange! — «Pachette!»¹ —

Алина! —

«Кто б мог подумать? Как давно!
Надолго ль? Милая! Кузина!
Садись — как это мудрено!
Ей-богу, сцена из романа...»
— А это дочь моя, Татьяна.—
«Ах, Таня! подойди ко мне —
Как будто брежу я во сне...
Кузина, помнишь Грандисона?»
— Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил.

ХLII

А тот... но после всё расскажем,
Не правда ль? Всея ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть...
Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость...»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.

¹ Mon ange! — «Pachette!» (франц.) — Мой ангел! — Пашенька!

XLIII

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Нехорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелкóвой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

XLIV

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

XLV

Но в них не видно перемены;
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосьё Финмуш,

И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

XLVI

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем, очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участия,
Не понимает ничего
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

XLVIII

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;

Все в них так бледно, равнодушно;
Они клеветают даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.

XLIX

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагодарно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, близ него ее заметя,
Об ней, поправля свой парик,
Осведомляется старик.

L

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внимлет,
Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было так же в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

LI

Ее привозят и в Собрание.
 Там теснота, волнение, жар,
 Музыки грохот, свеч блистанье,
 Мельканье, вихорь быстрых пар,
 Красавиц легкие уборы,
 Людями пестреющие хоры,
 Невест обширный полукруг,
 Всё чувства поражает вдруг.
 Здесь кажут франты записные
 Свое нахальство, свой жилет
 И невнимательный лорнет.
 Сюда гусары отпускные
 Спешат явиться, прогреметь,
 Блеснуть, пленить и улететь.

LII

У ночи много звезд прелестных,
 Красавиц много на Москве.
 Но ярче всех подруг небесных
 Луна в воздушной синеве.
 Но та, которую не смею
 Тревожить лирою моею,
 Как величавая луна,
 Средь жен и дев блестит одна.
 С какою гордостью небесной
 Земли касается она!
 Как негой грудь ее полна!
 Как томен взор ее чудесный!..
 Но полно, полно; перестань:
 Ты заплатил безумству дань.

LIII

Шум, хохот, беготня, поклоны,
 Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,
 Между двух теток, у колонны,
 Не замечается никем,
 Татьяна смотрит и не видит,
 Волнение света ненавидит;
 Ей душно здесь... она мечтой
 Стремится к жизни полевой,
 В деревню, к бедным поселянам,
 В уединенный уголок,

Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где он являлся ей.

LIV

Так мысль ее далече бродит:
Забыт и свет и шумный бал,
А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал.
Друг другу тетушки мигнули,
И локтем Таню враз толкнули,
И каждая шепнула ей:
— Взгляни налево поскорей.—
«Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди...
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое...
Вот отошел... вот боком стал...—
«Кто? толстый этот генерал?»

LV

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою...
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля молодого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступление есть.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Fare thee well, and if for ever,
Still for ever fare thee welle.

*Byron*¹

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир молодых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

II

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил².

.
.
.
.

¹ Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. *Байрон* (англ).

² Окончание этой строфы сохранилось в рукописи:
«И Дмитрев не был наш хулитель,
И быта русского хранитель,
Скрижаль оставив, нам внимал

.
.
.
.
.
.

III

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась —
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

IV

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной.
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по берегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,

И музу робкую ласкал.
И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекрасного певец,
Ты идол девственных сердец,
Не ты ль пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал».

Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

V

И, позабыв столицы дальной
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ими одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

VI

И ныне музу я впервые
На светский раут ⁽⁴⁴⁾ привожу;
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей,
Явленьем медленным гостей
Перед хозяйкой молодою
И темной рамою мужчин
Вкруг дам, как около картин.

VII

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранный
Стоит безмолвный и туманный?

Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним,
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
— Давно ли к нам он занесен?

VIII

Все тот же ль он иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите: чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет...
— Знаком он вам? — И да и нет.

IX

— Зачем же так неблагоклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

X

Блажен, кто смолodu был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,

Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

XI

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

XII

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим.
Онегин (вновь займуся им),
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

XIII

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день,
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.

XIV

Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...¹ (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)

XV

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девуцы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног

¹ *Du comme il faut* (франц.) — хорошего тона, хорошего вкуса.

Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется *vulgar*¹. (Не могу...

XVI

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...)
Но обращаюсь к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

XVII

«Ужели,— думает Евгений: —
Ужель она? Но точно... Нет...
Как! из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
— Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я.—
«Да кто ж она?» — Жена моя.

XVIII

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух лет.—

¹ Vulgar (англ.) — вульгарно, безвкусно.

«На ком?» — На Лариной. — «Татьяне!»
— Ты ей знаком? — «Я им сосед».
— О, так пойдем же. — Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родно и друга своего.
Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

XIX

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

XX

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наруже, всё на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

XXI

Он оставляет раут тесный,
Домой задумчив едет он;
Мечтой то грустной, то прелестной
Его встревожен поздний сон.
Проснулся он; ему приносят
Письмо: князь N покорно просит
Его на вечер. «Боже! к ней!..
О буду, буду!» и скорей
Марает он ответ учтивый.
Что с ним? в каком он странном сне!
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь?

XXII

Онегин вновь часы считает,
Вновь не дождется дню конца.
Но десять бьет; он выезжает,
Он полетел, он у крыльца,
Он с трепетом к княгине входит;
Татьяну он одну находит,
И вместе несколько минут
Они сидят. Слова нейдут
Из уст Онегина. Угрюмый,
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает. Голова
Его полна упрямой думой.
Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна.

XXIII

Приходит муж. Он прерывает
Сей неприятный tête-à-tête¹;
С Онегиным он вспоминает
Проказы, шутки прежних лет.
Они смеются. Входят гости.
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор;
Перед хозяйкой легкий вздор

¹ Tête-à-tête (франц.) — разговор наедине.

Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

XXIV

Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лица,
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые;
Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;
Тут был в душистых сединах
Старик, по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

XXV

Тут был на эпиграммы падкий,
На всё сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный,
На ложь журналов, на войну,
На снег и на свою жену.

.
.
.
.
.
.

XXVI

Тут был Проласов, заслуживший
Известность низостью души,

Во всех альбомах притупивший,
St.-Priest¹, твои карандаши;
В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим,
И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор
Ему был общий приговор.

XXVII

Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

XXVIII

Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,

¹ St.-Priest — граф Сен-При, молодой великосветский офицер, рисовавший талантливые карикатуры в светских альбомах.

К луне подьѣмлет томно очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь!

XXIX

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежают,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

XXX

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблен;
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, стеклянным сеням
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинёт
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

XXXI

Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три,
Порой одним поклоном встретит,
Порою вовсе не заметит:

Кокетства в ней ни капли нет —
Его не терпит высший свет.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет — и едва ль
Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к *водам*.

XXXII

А он не едет; он заране
Писать ко прадедам готов
О скорой встрече; а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет;
Еще надеется, хлопочет;
Смелей здорового, больной,
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь-в-точь.

Письмо Онегина к Татьяне

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Случайно вас когда-то встреть,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...

Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

И я лишен того: для вас
Ташусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;

Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.

XXXIII

Ответа нет. Он вновь посланье:
Второму, третьему письму
Ответа нет. В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видят, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодование
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...

XXXIV

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...
Надежды нет! Он уезжает,
Свое безумство проклиная —
И, в нем глубоко погружен,
От света вновь отрекся он.
И в молчаливом кабинете
Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете.
Поймала, за́ ворот взяла
И в темный угол заперла.

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël¹, Бишá, Тиссо,

¹ Madame de Staël (франц.) — мадам де Сталь, французская романистка XIX века.

Прочел скептического Бея,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
*E sempre bene*¹, господа.

XXXVI

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

XXXVII

И постепенно в усыпление
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображение
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ноче, ле,ге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит она... и все она!..

¹ *E sempre bene* (итал.) — ну что ж, и прекрасно.

XXXVIII

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: *Benedetta*
Иль *Idol mio*¹ и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалась зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живет его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окны, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудаки.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.

¹ «Benedetta», «Idol mio» (итал.) — начальные слова двух популярных тогда итальянских песенок.

Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

ХLI

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно все. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.

ХLII

Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

ХLIII

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,

И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?

XLV

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклиний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним

Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

XLIX

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлечения, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
Засим расстанемся, прости!

L

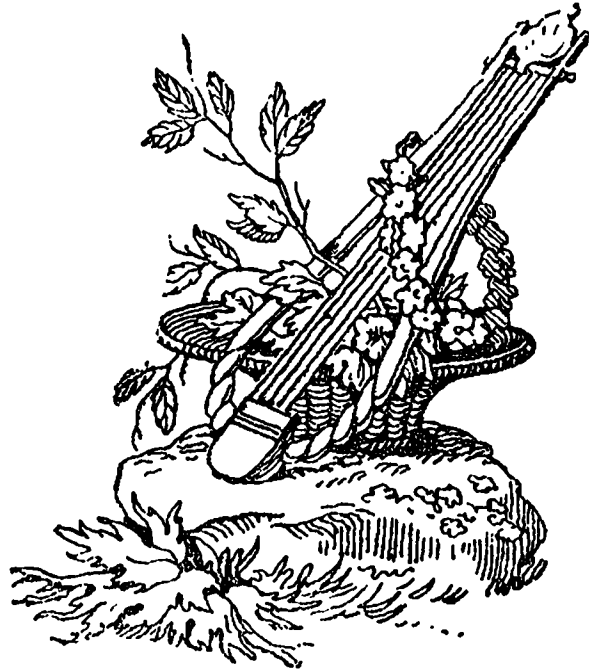
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.

А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

К О Н Е Ц



ПРИМЕЧАНИЯ К «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ»

(¹) Писано в Бессарабии.

(²) Dandy, франт.

(³) Шляпа à la Bolivar.

(⁴) Известный ресторатор.

(⁵) Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе.

(⁶) Tout le monde sut qu'il mettait du blanc; et moi, qui n'en croyais rien, je commençai de le croire, non seulement par l'embellissement de son teint et pour avoir trouvé des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu'entrant un matin dans sa chambre, je le trouvai brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprès, ouvrage qu'il continua fièrement devant moi. Je jugeai qu'un homme qui passe deux heures tous les matins à brosser ses ongles, peut bien passer quelques instants à remplir de blanc les creux de sa peau.

*Confessions de J. J. Rousseau*¹.

Грим опередил свой век: ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенной щеточкой.

(⁷) Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Лудовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестию, столь пленившей г-жу Сталь. (См. *Dix années d'exil*².)

¹ Все знали, что он употребляет белила; и я, совершенно этому не веривший, начал догадываться о том не только по улучшению цвета его лица или потому, что находил баночки из-под белил на его туалете, но потому, что, зайдя однажды утром к нему в комнату, я застал его за чисткой ногтей при помощи специальной щеточки; это занятие он гордо продолжал в моем присутствии. Я решил, что человек, который каждое утро проводит два часа за чисткой ногтей, может потратить несколько минут, чтобы замазать белилами недостатки кожи. *Исповедь Ж.-Ж. Руссо* (франц.).

² «Десять лет изгнания» (франц.).

(⁸) Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича:

Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак.
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность.
На взморье далеком серебристые видны ветрила
Чуть видных судов, как по синему небу плывущих.
Сияньем бессумрачным небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с златом востока:
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро.— Была то година золотая,
Как летние дни похищают владычество ночи;
Как взор иноземца на северном небе пленяет
Слиянье волшебное тени и сладкого света,
Каким никогда не украшено небо полудня;
Та ясность, подобная прелестям северной девы,
Которой глаза голубые и алые щеки
Едва оттеняются русыми локонами.
Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят
Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени;
Тогда Филомела полночные песни лишь кончит
И песни заводит, приветствуя день восходящий.
Но поздно; повеяла свежесть на невские тундры;
Роса опустилась;
Вот полночь: шумевшая вечером тысячью весел,
Нева не колыхнет; разъехались гости градские;
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, всё тихо;
Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою;
Лишь крик протяженный из дальней промчится деревни,
Где в ночь окликается ратная стража со стражей.
Всё спит

(⁹) Въявь богиню благосклонну
 Зрит восторженный пиит,
 Что проводит ночь бессонну,
 Опершись на гранит.

(Муравьев. Богине Невы)

(¹⁰) Писано в Одессе.

(¹¹) Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал на восьмом году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп, но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, девятнадцать братьев, из коих он был меньшой; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он

один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнит также любимую сестру свою Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся.

18 лет от роду Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента; он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостию климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во все время царствования Анны, считаясь в службе и в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы, с чином генерал-аншефа на 92 году от рождения.

Сын его генерал-лейтенант И. А. Аннибал принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей екатерининского века (ум. в 1800 году).

В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям. (Мы со временем надеемся издать полную его биографию.) [Примеч. к первому изданию.]

(¹²) Из первой части Днепровской русалки.

(¹³) Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами.

(¹⁴) Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов.

(¹⁵) Si j'avais la folie de croire encore au bonheur, je le chercherais dans l'habitude ¹ (Шатобриан).

(¹⁶) «Бедный Иорик!» — восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна.)

(¹⁷) В прежнем издании вместо *домой летят* было ошибкою напечатано *зимой летят* (что не имело никакого смысла). Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю.

(¹⁸) Юлия Вольмар — Новал Элоиза. Малек-Адель — герой посредственного романа M-me Cottin. Густав де Линар — герой прелестной повести баронессы Крюднер.

(¹⁹) Вампир — повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. Мельмот — гениальное произведение Матюрина. Jean Sbogar — известный роман Карла Нодье.

(²⁰) Lasciate ogni speranza voi ch'entrate ². С скромный автор наш перевел только первую половину славного стиха.

¹ Если б я имел безрассудство верить еще в счастье, я искал бы его в привычке (франц.).

² «Оставьте всякую надежду, вы, сюда входящие» (итал.) — надпись на воротах ада в поэме итальянского поэта Данте «Божественная комедия».

Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком...
(Опасный сосед)

(³⁶) Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха.

(³⁷) Парижский ресторатор.

(³⁸) Стих Грибоедова.

(³⁹) Славный ружейный мастер.

(⁴⁰) В первом издании шестая глава оканчивалась следующим образом:

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображение,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,

XLVII

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

(⁴¹) Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной.

(⁴²)
Дороги наши — сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль, проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша;

Дорога, скажешь, хороша —
И вспомнишь стих: *для проходящих!*
Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш *Мак-Адам* или *Мак-Ева*
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым,
И запорошит ранний снег
Следы ее песком пушистым,
Или когда поля проймет
Такая знойная засуха,
Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмуря, муха.

(«Станция». Князь Вяземский)

(⁴³) Сравнение, заимствованное у К**, столь известного игривостию изображения. К... рассказывал, что, будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу.

(⁴⁴) Rout, вечернее собрание без танцев, собственно значит толпа.



ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА

Последняя глава «Евгения Онегина» издана была особо, с следующим предисловием:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означать сию выпущенную главу точками или цифром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою «Евгения Онегина» и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти каменам, и проч.».

П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит, однако ж, плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным.— Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость одного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив к ним еще несколько строф.

Е. Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород:

. перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европейец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух.

*

Тоска!..

Онегин едет в Астрахань и оттуда на Кавказ.

Он видит: Терек своенравный
Крутые роет берега;
Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несется конь черкеса,
И вокруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
Вдали — кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробилась брань
За их естественную грань,
Через их опасные преграды;
Брега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры.

*

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто почечуя, кто Киприды;

Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,
Кокетка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть — хотя на миг.

*

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? — ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Онегин посещает потом Тавриду:

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там заколоса Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И, посреди прибрежных скал,
Свою Литву воспоминал.

*

Прекрасны вы, берега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груди ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
Ну, муза! прошлое забудь.

*

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне — теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страдания...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

*

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желанья — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

*

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи, фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Зарему я воображал
Средь пышных, опустелых зал...
Спустя три года, вслед за мною,

Скитаясь в той же стороне,
Онегин вспомнил обо мне.

*

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свой подьѐмлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразием живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

*

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавный труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.

*

А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал.
В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.

Все дома на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

*

Но уж дробит камня́ молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.
Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важный;
Чего б, вы думали? — воды.
Потребны тяжкие труды...
Что ж? это небольшое горе,
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

*

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino¹; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлись два купца.

*

Глядишь — и площадь запестрела.
Все оживилось; здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.

¹ Casino (итал.) — казѐно (нынешнее ударение — казинó), игорный дом с рестораном.

Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?

*

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызгнутых лимоном.
Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном¹;
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

*

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволенó ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

¹ Известный ресторатор в Одессе. (Прим. Пушкина.)

*

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? ¹ а балет?
А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет и — снова захрапит.

*

Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,
Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы режем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит...

*

Итак, я жил тогда в Одессе...

¹ Prima donna (итал.) — примадонна, певица, исполняющая в опере главные роли.



ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

I

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

.

II

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.

.

III

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

.

IV

Но бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутились в Париже,
А русский царь главой царей.

.

V

И чем жирнее, тем тяжеле.
 О русский глупый наш народ,
 Скажи, зачем ты в самом деле

VI

Авось, о Шиболет народный,
 Тебе б я оду посвятил,
 Но стихоплет великородный
 Меня уже предупредил

 Моря достались Албиону

VII

Авось, аренды забывая,
 Ханжа запрется в монастырь,
 Авось по манью Николая
 Семействам возвратит Сибирь

 Авось дороги нам исправят

VIII

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
 Пред кем унизились цари,
 Сей всадник, папою венчанный,
 Исчезнувший как тень зари,

 Измучен казнию покоя

IX

Тряслися грозно Пиренеи,
 Волкан Неаполя пылал,
 Безрукий князь друзьям Морей
 Из Кишинева уж мигал.

 Кинжал Л , тень Б¹

¹ Не установлено, представляют ли собою «Л» и «Б» буквы или условные значки.

X

Я всех уйму с моим народом,—
Наш царь в конгрессе говорил,
А про тебя и в ус не дует,
Ты александровский холоп

.

XI

Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей.

.

XII

Россия присмирела снова,
И пуще царь пошел кутить,
Но искра пламени иного
Уже издавна, может быть,

.

XIII

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки

.

XIV

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

.

XV

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

XVI

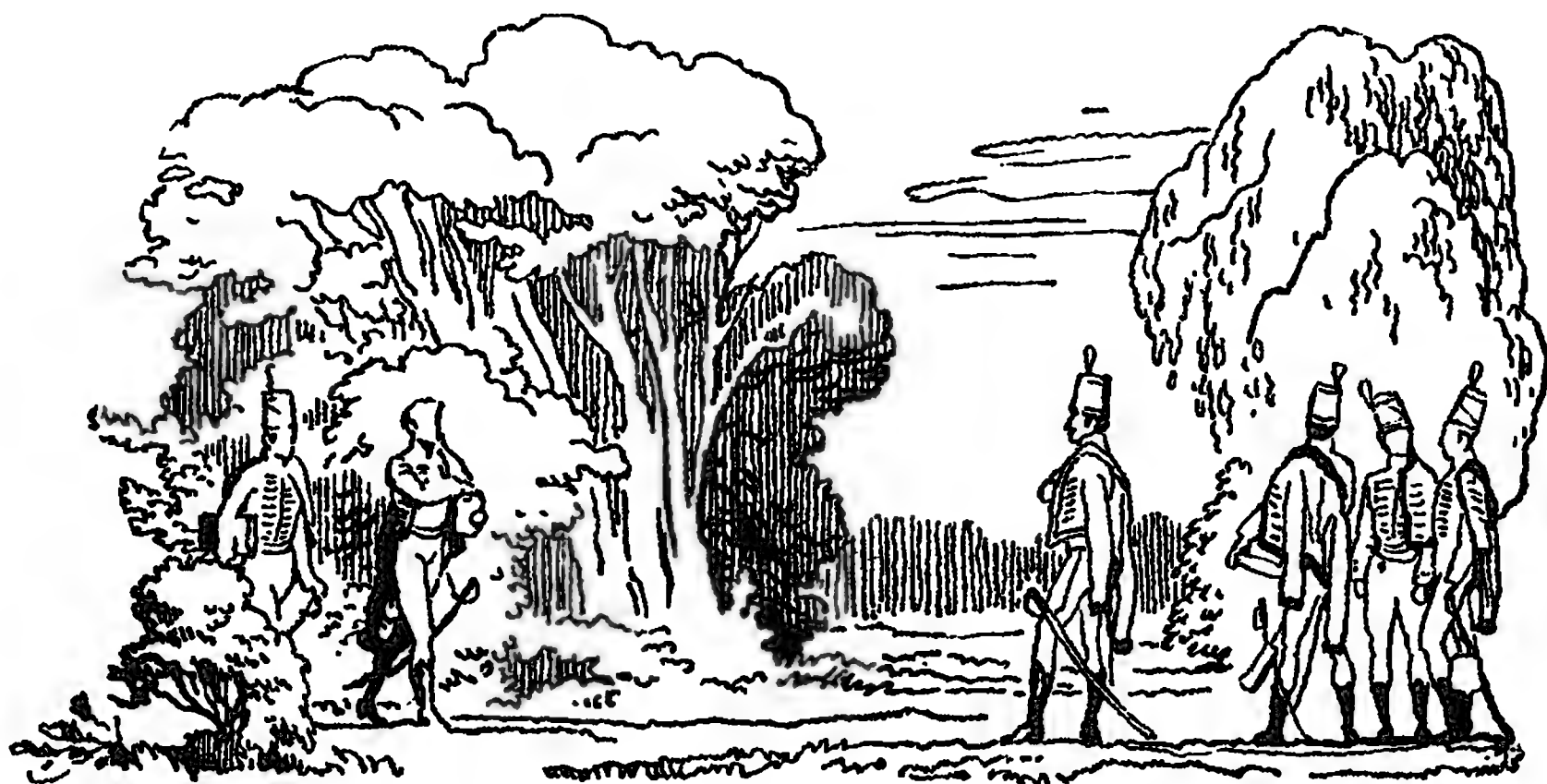
Так было над Невою льдистой,
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли.
Там Пестель для тиранов
И рать набирал
Холоднокровный генерал,
И Муравьев, его склоняя,
И полон дерзости и сил,
Минуты вспышки торопил.

XVII

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов,
Казалось
Узлы к узлам
И постепенно сетью тайной
Россия
Наш царь дремал
.

П Р О З А





ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Г-жа Простакова
То, мой батюшка, он еще
сизмала к историям охотник.

Скотинин
Митрофан по мне.
Недоросль

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше полу-

чили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый Государь мой****!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, все, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смысленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для

сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мной со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны, Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его на́веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почестся может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая¹.

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлою зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ². Одна-

¹ Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает. (Прим. А. С. Пушкина.)

² В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукой автора надписано: слышано мною от такой-то особы (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей. «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т. (Прим. А. С. Пушкина.)

ко ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волосы русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо, хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.
Село Ненарадово.

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы.

Баратынский

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался еще мой выстрел).

Вечер на бивуаке

I

Мы стояли в местечке***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В*** не было

ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было невероятно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами

находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнивал счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не уга-

дывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа,—сказал им Сильвио,—обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас,—продолжал он, обратившись ко мне,—жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить»,—сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся,—сказал он мне,—перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно,— продолжал он,— что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я.— Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался,— отвечал Сильвио,— и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*¹); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

— Вы знаете,— продолжал Сильвио, что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолodu это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружелюбия; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпи-

¹ Полицейская шапка (франц.).

граммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти,— сказал я ему,— вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне,— возразил он,— извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь,— сказал Сильвио,— кто эта известная особа. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей

клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большею частию в икоте и вздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня действовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною

роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всажеными одна на другую.

— Вот хороший выстрел,— сказал я, обращаясь к графу.

— Да,— отвечал он,— выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно,— отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого.— В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности,— а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь,— отвечал граф,— мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О,— заметил я,— в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мой был в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука

не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

— А каково стрелял он? — спросил меня граф.

— Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!

— Это удивительно! — сказал граф, — а как его звали?

— Сильвио, ваше сиятельство.

— Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места; — вы знали Сильвио?

— Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятелями; он в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

— Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

— Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

— А сказывал он вам имя этого повесы?

— Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство, — продолжал я, догадываясь об истине, — извините... я не знал... уж не вы ли?..

— Я сам, — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, — а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

— Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

— Нет, — возразил граф, — я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. — Первый месяц, the honeymoon¹, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены

¹ Медовый месяц (англ.).

что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. «Так точно,— продолжал он,— выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею,— сказал он,— что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

— Я выстрелил,— продолжал граф,— и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая,— сказал я ей,— разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио,— правда ли, что вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня,— отвечал ей Сильвио,— однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! — закричал я

в бешенстве;— а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»— «Не буду,— отвечал Сильвио,— я доволен: я видел твоё смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

МЕТЕЛЬ

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокий.

.

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р **. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поестъ, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был

бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: «Дети! придите в наши объятия».

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым

замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто слясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жиз-

нию. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихла, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать — и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир повернул туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак деревьев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из

лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассветнет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафровке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девочку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович.

«Лучше, папенька»,— отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчерась угорела»,— сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька»,— отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходявшая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили

Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-Quatre*¹, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура*!

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему бы-

¹ Да здравствует Генрих Четвертый (франц.).

ло около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

*Se amor non è che dunque?..*¹

Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду,— отвечала старушка,—

¹ Если это не любовь, так что же?.. (итал.)

подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руке и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux¹.) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал.

¹ Сен-Пре (франц.).

Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день утром, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин

Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет все было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриян обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриян Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставлял их без дела глазающих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриян, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузи-

лись, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франма-сонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед,— сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доныне слышать не можем,— извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан. «Э-хе-хе,— отвечал Шульц,— и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». — «Сущая правда,— заметил Адриан;— однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столи-

цу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком бóльшей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриян тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриян ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриян пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шуточный тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!»¹ Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, среди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо

Казалось в красненьком сафьянном переплете,

под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую пословицу: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле, — рассуждал он

¹ Наших клиентов (нем.).

вслух,— чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу! чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных». — «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселie! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову, — продолжал Адриян, — и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриян подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриян. — Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адрияну лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне, — сказал, запыхавшись, Адриян, — войдите же, сделайте милость». — «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо, — ступай себе вперед;

указывай гостям дорогу!» Адрияну и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адрияну показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров,— сказал бригадир от имени всей честной компании,— все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адрияну. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров,— сказал скелет.— Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адрияну с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович,— сказала Аксинья, подавая ему халат.— К тебе заходил сосед портной, и здешний буточник забежал с объявлением, что сегодня

частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелью, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так, — отвечала работница.

— Ну, коли так, давай скорее чаю да позови дочерей.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.

Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или по крайней мере муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему

две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого зрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных зрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные зрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коиими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия зрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего зрители со мною не церемонились, и часто бирая с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! — закричал зритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя

дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с,— отвечал он с видом довольного самолюбия,— да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою дорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлаффорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлаффорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзаминном, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также

мелькнула в моем уме, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он встал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не бритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал шепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не наглажусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил

было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дуней, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их по дорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дуней и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам

позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностью, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, рассказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось,— думал смотритель,— приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипе-

ло, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне по крайней мере бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». — «Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». — «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». — «Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили.

«Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка, — зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не подымая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы, — что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» — и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступить. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентийч в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования; но, как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителю могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка; — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами, и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на грудку песка, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.

— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

Богданович

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomanии своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь

же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир и если бы он, вместо того чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотри, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не жила в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность (individualité¹)*, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж *nota nostra manet²*, как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утра-

¹ Индивидуальность (франц.).

² Наше замечание остается в силе (лат.).

ченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англomана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости,— сказала однажды Настя, одевая барышню.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот! — сказала Лиза,— господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

— А нам какое дело до господ! — возразила Настя,— к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

— Ну, Лизавета Григорьевна,— сказала она, входя в комнату,— видела молодого Берестова: нагладелась довольно; целый день были вместе.

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с; пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...

— Хорошо, знаю. Ну потом?

— Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да, грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него слышно?

— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть! — сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы, верно, встретите его. Он же всякой день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.

— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговиц, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «*Tout beau, Sbogar, ici...*»¹ — и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полужастенчивой, — боюсь: она, вишь,

¹ Тубе, Сбогар, сюда... (франц.)

такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься,— сказал он ей,— ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза,— вольному воля, а дорога мирская». — «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). — «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» — «Так точно,— отвечал Алексей,— я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь,— сказала она,— не на дуру попал. Вижу, что ты сам барин». — «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему». — «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,— сказала она с важностью,— то не извольте забываться». — «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она,— разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагладелась. Однако,— продолжала она,— болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной,— отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой,— да пусти ж, барин; мне и домой пора». — «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу». — «Что ты? — возразила с живостью Лиза,— ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет: отец мой, Василий-кузнец, прибьет меня до смерти». — «Да я непременно хочу с тобою опять видеться». — «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». — «Когда же?» — «Да хоть завтра». — «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да, да». — «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая

на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянута в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее,— сказал он,— как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решила не сдерживать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны, Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвлечь Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово,— сказала она наконец,— что ты никогда не будешь искать меня в деревне или

расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы,— сказала Лиза,— довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романической надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменяло их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремяного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошою погодою, велел оседлать козую свою кобылку и рысью поехал около своих англоизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Гри-

горий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскавав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не устоял. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожжек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением, — отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear»¹, — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев. — Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла? —

¹ Моя дорогая (англ.).

возразил отец,— давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насе; обе сбрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа,— отвечала Лиза,— я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал, смеясь, Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатила около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много слышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего при-

личнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянута, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава *à l'imbécile*¹ торчали, как фижмы у *Madame de Pompadour*²; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу. — А знаешь ли что? Белилы, пра-

¹ «По-дурацки» (фасон узких рукавов с пуфами у плеча) (франц.).

² Мадам де Помпадур (франц.).

во, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умиловать раздражённую мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать её оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять её на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роше свиданий. «Ты был, барин, вчера у наших господ? — сказала она тотчас Алексею, — какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он её не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень и, чтоб успокоить её совсем, начал описывать её госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться её понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался её, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идёт скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей круп-

ным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!..» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». — «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка? — спросил изумленный Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской, — отвечал Иван Петрович; — невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

- Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.
- Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.
- После понравится. Стерпится, слюбится.
- Я не чувствую себя способным сделать ее счастье.
- Не твое горе — ее счастье. Что? так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!
- Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.
- Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю! Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им гибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объяснить. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, — отвечал слуга, — Григорий Иванович с утра изволил выехать». — «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли по крайней мере Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей прыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Все будет решено, — думал он, подходя к гостиной, — объяснюсь с нею самою». — Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платье, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous*

fou?»¹ — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

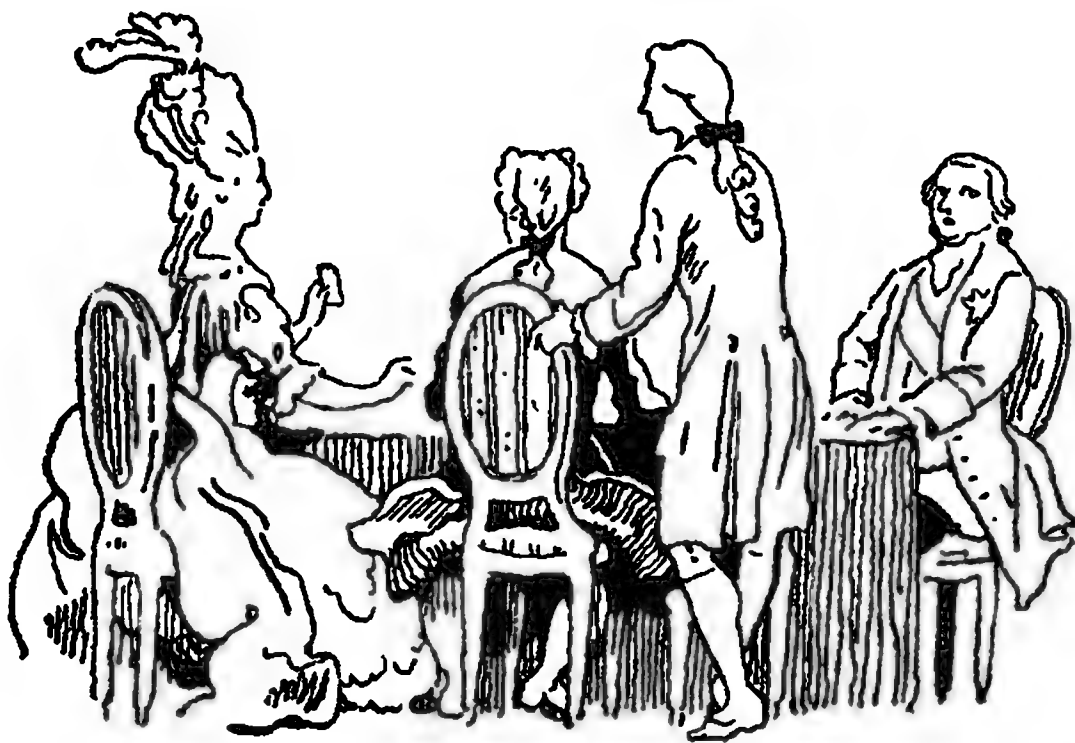
— Ага! — сказал Муромский, — да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

¹ Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? (франц.)

КОНЕЦ ПОВЕСТЯМ И. П. БЕЛКИНА





ПИКОВАЯ ДАМА

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолом, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на руте?.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германи! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно, — сказал Германи, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германи немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть, — продолжал Томский, — каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бежал за нею, чтоб увидеть *la Vénus moscovite*¹; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь и что есть разница между принцем и каретником. — Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

¹ Московскую Венеру (франц.).

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудака явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою,— сказал он,— но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыгаться». — «Но, любезный граф,— отвечала бабушка,— я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». — «Деньги тут не нужны,— возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал:

— В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine¹. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю,— отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов,— у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

— Да, черта с два! — отвечал Томский,— у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал

¹ На карточную игру у королевы (франц.).

дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе, — отыгрался и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уж рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.

— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches¹.

Светский разговор

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пальцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman², — сказал, вошедши, молодой офицер. — Bon jour, mademoiselle Lise³. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?⁴

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его представишь. Был ты вчерась у ***?

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

¹ Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. — Что делать, сударыня? Они свежее (франц.).

² Бабушка (франц.).

³ Здравствуйте, Лиза (франц.).

⁴ Поль (франц.).



*При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство.
(«Пиковая дама»)*

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как постарела? — отвечал рассеянно Томский, — она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини тайли смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня слышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она, — а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов, — пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька, — сказала она, — карету закладывать, и поедem прогуляться.

Лизанька встала из-за пьальцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня. — Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить, — сказала графиня. — Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня. — Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну!

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова, — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня, — всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня. — Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня. — Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы,

где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало *vis-à-vis*¹, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя,— с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашенная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды — это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,— однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять — молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пальцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было,— и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы.

¹ Пары (франц.).

Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,— офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,— подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилося. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*,— а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если,— думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу,— что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастья?.. Представиться ей, подбиться в ее милость,— пожалуй, сделаться ее любовником,— но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет,— она может умереть через неделю,— через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились

к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***, — отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire¹.

Переписка

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

¹ Вы пишете мне, мой ангел, письмо по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать (франц.).

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, — и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманном поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа.

— Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному. — Это писано, верно, не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель, — я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, — и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, украшенной свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, — было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графини-

но крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrier¹. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа², коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, — все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, — и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета.

¹ Госпожой Лебрэн (франц.).

² Леруа (франц.).

та; наконец графиня осталась в спальнй кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германи вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германи, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германи остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германи. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгаться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изображали сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы, — продолжал Германи, — назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германи продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германи стал на колени.

— Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь

человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери,— всем, что ни есть святого в жизни,— не откажите мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго,— я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы,— так я ж заставляю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатила навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться,— сказал Германн, взяв ее руку.— Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18**.

Homme sans mœurs et sans religion!¹

Переписка

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу,— сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,— и уже она была с ним в переписке,— и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она

¹ 7 мая 18**. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого! (франц.)

знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели...

— Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодеяния. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн, — или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть, — на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — *oubli ou regret?*¹ — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня,

¹ Забвение или сожаление? (франц.)

но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходил с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошрое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложив крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини, — отвечал Германн, — я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется, — продолжал Германн, — я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодеяния на душе!* Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти, — отвечал Германн, — пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложив руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна. — Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал

ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германи остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствами. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal¹, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германи нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»

Шведенборг

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германи отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь,— и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германи насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахинном. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре,— дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation². Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное

¹ «Королевской птицей» (франц.).

² Притворством (франц.).

слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умирительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее,— сказал оратор,— бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли,— и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об землю. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «Oh?»

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко,— и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним,— и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли,— сказала она твердым голосом,— но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка,

семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

— *Атáнде!*
— Как вы смели мне сказать *атáнде?*
— Ваше превосходительство, я сказал *атáнде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, прошедшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт.

Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту,— сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет,— извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч,— отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел!» — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам,— сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою,— что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

— Что ж? — возразил Германн,— бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить,— сказал он,— что будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Извольте получить? — спросил он Германны.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германны. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германны. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

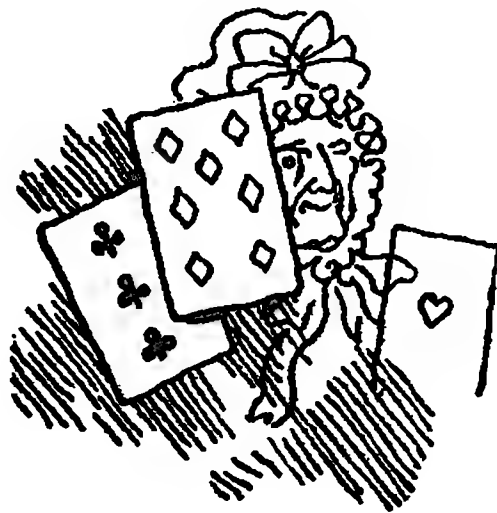
Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. — Славно спонтировал! — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

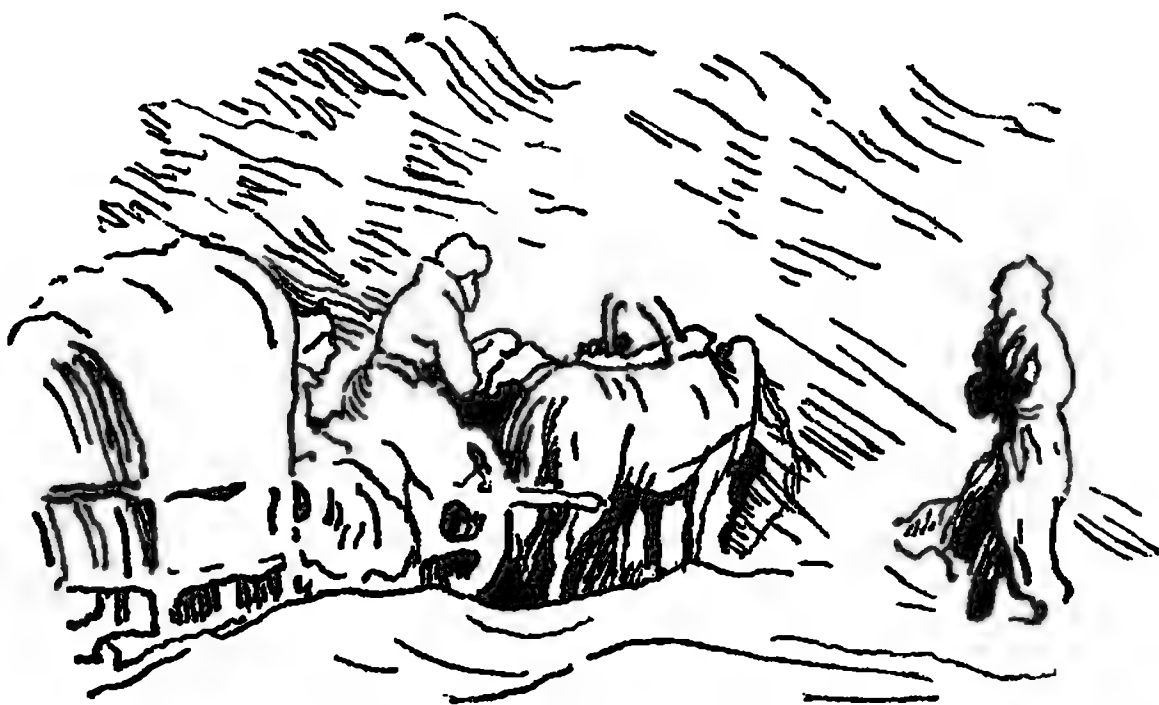
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.





КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду.

Пословица

Глава I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

- Был бы гвардии он завтра ж капитан.
- Того не надобно; пусть в армии послужит.
- Изрядно сказано! пускай его потужит...
-
- Да кто его отец?

Княжнин

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитыва-

лись мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу,— ворчал он про себя,— кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию *pour être outchitel*¹, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски,—и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осы-

¹ Чтобы стать учителем (франц.).

пать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменялась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок,— отвечала матушка.— Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще...

«Добро,— прервал батюшка,— пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович,— сказала матушка,— поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь.— К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием; положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смóлоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надела на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркёром, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал

смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под бильярдом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на бильярде. «Это,— говорил он,— необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» —

«Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый к услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! за чем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление, — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он

дрожащим голосом,— не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» — «Полно врать,— прервал я строго,— подавай сюда деньги или я тебя взащей прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Глава II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонushка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только побрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом.— Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало бурю.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин,— закричал ямщик,— беда: буря!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка,— невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться,— говорил он сердито,— воротился бы на постоянный двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря бы утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать

улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли, где дорога?

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалеко?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к пред-
рассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда суще-

ственность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише,— говорит она мне,— отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша,— отвечала мне матушка,— это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие»,— отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил

вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показала мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость,— прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе,— сказал он,— опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечеру звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя,— возразил мой бродяга,— будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиреного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решил убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич

нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? за то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо», — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напаялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он

распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «...Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фу, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держат в ежовых рукавицах»... Что такое ешovy рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно, ешovy рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где же он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» — а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

«Час от часу не легче! — подумал я про себя, — к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В*** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Глава III

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далеко ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломой. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке



*Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне.
(«Капитанская дочка»)*

и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затвержденную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неугомонный вопрошатель. «Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захоlustье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша. — Отведи господину офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч, — сказала капитанша, — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на

высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избышек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня,— сказал он мне по-французски,— что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь,— прибавил он,— нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша.— Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубежде-

нием. Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричатся». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Глава IV ПОЕДИНОК

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностью. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею во всем

околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стихи:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений.

Швабрин посмеялся и над этой угрозой. «Посмотрим,— сказал он,—сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело,— отвечал я нахмуясь,— кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня,— но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объяснить.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому,— отвечал он с адской усмешкою,— что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве,— ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице.

— Это тебе так не пройдет,— сказал он, стиснув мне руку.— Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня,— добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить,— сказал он мне,— что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побрались? Велика беда! Брань на воротах не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просвер-

лит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно,— сказал Иван Игнатьич,— делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша,— сказал он.— Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступить.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты,— сказал он мне сухо,— без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так,— сказал он мне с довольным видом,— худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты,— я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич,— сказал он,— одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреевичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обидяков; по крайней мере никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать,— сказал он мне,— надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При

всем моем уважении к вам,—сказал он ей хладнокровно,—не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».— «Ах! мой батюшка! — возразила комендантша,— да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассадь их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да калялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было,—сказал я ему сердито,—доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил,—отвечал он,—Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может»,—сказал я ему. «Конечно,—отвечал Швабрин,—вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла,—сказала она,—когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно бы они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что бы я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравится ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется,—сказала она,—я думаю, что нравлюсь.

- Почему же вам так кажется?
- Потому что он за меня сватался.
- Сватался! Он за вас сватался? Когда же?
- В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.
- И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и *monsieur* Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегającego ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

Глава V

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.
Если хуже меня найдешь, вспомнянешь.

То же

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? каков?» — произнес шепоту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении,— отвечал Савельич со вздохом,— все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу,— отвечал я слабым голосом.— Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнися! опомнися! — повторял он.— Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич,— сказала она.— Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна,— сказал я ей,— будь моею женою, согласись на мое сча-

стие». Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь,— сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько,— прибавила она,— со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Ва-

силой Егоровой и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гринеvu, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добратся да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.».

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поспешил, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно, тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь,— сказал он, чуть не зарыдав,— что это

изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Ивановича! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи царю небесный! Так изволь-ка прочесть, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что́ нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку, — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди прос-

тые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич,— отвечала Маша,— я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь,— сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги,— посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то был молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня.

Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Глава VI ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрерывного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиной тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убийство Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию

лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
Капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно, и к совершенному уничтожению одного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении

Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирасть Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатъича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша, — уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатъича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полноврать, Иван Кузмич, — перервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне

Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка,— сказал он,— коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батюшко мой,— отвечала она,— не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы,— отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен,— заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу,— сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич,— сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения,— мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич, — али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плетъ и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижне-

озерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться негоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны,— отвечала комендантша.— Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застаю Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами.— Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой,— сказал я,— прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

Глава VII ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя

отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатъич, догоняя меня. — Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом. — «Не успела, — отвечал Иван Игнатъич, — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатъичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалеко, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомя, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между

ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бе-

жали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечьхватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята,— сказал комендант,— теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич.— Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым послушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай,— сказал ему Пугачев,— государю Петру Феодоровичу!» —

«Ты нам не государь,— отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана.— Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось»,— повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окайнные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька.— Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует»,— говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня.— Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага.

Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

Глава VIII

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Незванный гость хуже татарина.

Пословица

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадьа вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадьа. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иванов? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что́ будет, то́ будет; авось бог не оставит.

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих

мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожаком было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да на силу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспаривать мнение казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончит-

ся. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановою.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затянул тонким голосом заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,

Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ то тугой лук,
Что рассыльщики мои то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую,
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,— все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне.— Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват,— продолжал он,— но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь.— Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать

его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя гибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь,— сказал он,— чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батюшка. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельд-маршалы и в князья. Как ты думаешь?

— Нет,— отвечал я с твердостью.— Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу,— сказал он,— так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я.— Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть,— сказал он, ударя меня по плечу.— Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он перекрестив-

шись.— Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Глава IX РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай,— сказал он мне.— Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! — Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина:— Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил

в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

— «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

— «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудой на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крикнул и стал объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах, да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

— «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он,

выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу.— Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими послушниками... Заячий тулуп! Я те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь,— отвечал Савельич,— а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь,— отвечал Савельич,— смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте,— говорила мне попадья, провожая меня,— прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Орен-

бургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще,— примолвил, запинаясь, урядник,— жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!»— «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь.— Бог с тобою, стариனுшка! Это бренчит уздечка, а не полтина».— «Добро,— сказал я, прерывая спор.— Благодарю от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку».— «Очень благодарен, ваше благородие,— отвечал он, поворачивая свою лошадь,— вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь,— сказал старик,— что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не сто́ят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Глава X ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в нощи привести под град.

Херасков

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые оста-

новили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: наступательно или оборонительно? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному поряд-

ку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагоклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать соби́рание голосов. Господин коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здоровой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолю-

бие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долгое заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городская конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты

вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч,— сказал я ему.— Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною,— отвечал Максимыч, положив руку за пазуху.— Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить.— Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застрашав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm¹, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парাপете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал. — Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

¹ Плут (нем.).

— Скорее соглашусь умереть,— сказал я в бешенстве,— нежели уступить ее Швабрину!

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик.— Теперь понимаю, ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоприятна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

Глава XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

А. Сумароков

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переводываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-навсего денег? «Будет с тебя,— отвечал он с довольным видом.— Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич,— сказал я ему,— отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом.— Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать,— отвечал я старику.— Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, прищпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повернул лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка,— прибавил

он,— волен приказать: сейчас ли вас повесить али дожждаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец,— сказал один из мужиков,— сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидаясь долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,— все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию.— Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них,— сказал мне Пугачев,— от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седой бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно

очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина казнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я нахсдился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачев. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу, — отвечал я, — все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду.

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь,— подхватил старичок,— что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч,— сказал он ему.— Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов.— У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,— отвечал Хлопуша,— и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «Рванные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша.— Я тебе дам рванные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородашки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев.— Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен,— сказал он, мигая и прищуриваясь.— Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя,— отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев.— Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! —

Потом, обращаясь к Белобородову:— Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня, старика, призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе

стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог провести истину и другим образом... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься,— отвечал я ему.— Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев.— Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец.— Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился,— прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать,— помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

— Да! — сказал он с веселым видом.— Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему,— управился ли бы ты с Фридериком?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енара-

лами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся.

— Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

Глава XII

СИРОТА

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъясняя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчаньем своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

— Государь,— сказал он дрожащим голосом...— Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

— Веди ж меня к ней,— сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

— Государь! — сказал он.— Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев.— Это мое дело. А ты,— продолжал он, обращаясь к Швабрину,— не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне:— Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?

— Мой муж! — повторила она.— Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина.

— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему.— Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

— Милую тебя на сей раз,— сказал он Швабрину,— но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачев.— Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду

посаженым отцом, Швабрин дружкой; закутим, запьем — и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

— Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

— Это что еще? — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостью.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда, — сказал, смеясь, Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остоленый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я передеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, — говорила попадья. — Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый

день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не уколошил? Добро, спасибо злодею и за то». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное положение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались

горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадьа. — Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Глава XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин

Соединенный так нечаянно с милой девушкой, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр. — Вот уж тебе будет баня, и с твоею хозяйюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр провел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну,— продолжал Зурин,— так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиروвали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставляю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного.

— Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидаться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волно-

вали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал, как ребенок. Зурин смеялся

и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

Мирская молва —
Морская волна.

Пословица

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посреди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека; пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что ка-

ковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер,— сказал он мне нахмуясь,— но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом,— возразил мой допросчик,— дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

— «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее

самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчера* злодея. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божью в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ива-

новна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг

Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьева рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский

голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы, верно, не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня,— сказала она голосом еще более ласковым,— если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось,— и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом.— Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня.— Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?»— спросила она потом; и, услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! — закричала она.— Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказа-

ла с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорила с нею. «Знаю, что вы не богаты,— сказала она,— но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

19 окт. 1836.

Издатель.

Комментарии



СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛИЦЕЙ. ПЕТЕРБУРГ.

1817—1820

ПРОЩАНИЕ

Стр. 19

Обращено к товарищам перед выпуском из Лицея.

К и в е р — военный головной убор.

А с е с с о р — средний гражданский чин.

К р а с н ы й к о л п а к — головной убор французских революционеров-якобинцев. Его шутя надевали на своих заседаниях члены литературно-дружеского кружка «Арзамас», созданного для борьбы с реакционным литературным обществом «Беседа любителей русского слова». Пушкин, еще будучи лицеистом, принимал своими стихами активное участие в этой борьбе. После окончания Лицея стал членом «Арзамаса».

Ш и ш а к — военная островерхая шапка, каска.

Р а с п а х н у т ь ж и л е т. — Подобная вольность являлась недопустимой для военных и гражданских чиновников.

ВОЛЬНОСТЬ

О д а

Стр. 20

Это и следующие стихотворения, включенные в раздел, написаны Пушкиным по выходе из Лицея.

Ц а р и ц а Ц и т е р ы (острова Киферы в Греческом архипелаге)—богиня любви Афродита.

В о з в ы ш е н н ы й г а л л.—Кого здесь имеет в виду Пушкин, точно не установлено; называют имена французских поэтов Андре Шенье (позднее Пушкин посвятил его памяти большое стихотворение, названное его именем), Экушара Лебрена и автора «Марсельезы» Руже де Лилия.

«Тираны мира! трепещите!»—перевод строчки из «Марсельезы».

П р е д р а с с у ж д е н и й — предрассудков.

М у ч е н и к о ш и б о к с л а в н ы х (то есть широкоизвестных)—французский король Людовик XVI, казненный в 1793 году.

П о р ф и р а — императорская мантия.

В строфе 8 речь идет о Наполеоне («с а м о в л а с т и т е л ь н ы й З л о д е й»); в строфах 9—11—об императоре Павле и обстоятельствах его убийства.

«Забвенью брошенный дворец...»—Михайловский замок, где был убит Павел.

К а л и г у л а (I в. н. э.)—римский император, отличавшийся жестокостью и самодурством, убитый преторианцами (римская гвардия).

Я н ы ч а р ы — привилегированный корпус турецких войск; янычары не раз принимали участие в дворцовых переворотах; Пушкин называет янычарами высокопоставленных убийц Павла, в числе которых были и гвардейские офицеры.

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Стр. 22

Портрет Жуковского (работы П. Соколова) был приложен к одной из книжек «Вестника Европы» за 1817 год.

К ЧААДАЕВУ

Стр. 23

Ч а а д а е в П е т р Я к о в л е в и ч (1794—1856)—гусарский офицер, отличавшийся широким образованием и вольнолюбивыми взглядами, ближайший друг Пушкина до его ссылки на Юг.

ДЕРЕВНЯ

Стр. 23

Цирцея — обольстительница (в «Одиссее» Гомера царица-волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней).

Оракулы веков — мыслители и поэты прошлых времен.

Позор — здесь: вид, зрелище.

Витийство — красноречие.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Стр. 25

В истории живописи прошлого нередки случаи, когда создания великих мастеров использовались бездарными живописцами как холст для своих собственных произведений.

НА ЮГЕ

1820—1824

«ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО...»

Стр. 25

Стихотворение написано в середине августа 1820 года на корабле, по пути из Феодосии в Гурзуф.

«РЕДЕЕТ ОБЛАКОВ ЛЕТУЧАЯ ГРЯДА...»

Стр. 26

В начале стихотворения изображается берег и залив реки Тясмина в Каменке, где это стихотворение и написано. Каменка — имение братьев Давыдовых, близких знакомых Пушкина, один из которых был видным декабристом; пейзаж Каменки напомнил поэту морской берег Крыма.

МУЗА

Стр. 26

Семиствольная цевница — семь прилаженных друг к другу тростниковых дудок (свирелей) фригийских пастухов; Фригия — в древности область Малой Азии, жители которой занимались скотоводством и земледелием.

КИНЖАЛ

Стр. 27

Стихотворение, воспринятое как призыв к вооруженной борьбе с самодержавием. Написано в период близкого общения поэта с членами Южного общества декабристов.

В строфе 5 говорится об убийстве защитниками республиканской свободы, во главе с Марком Брутом, Юлия Цезаря (Кесаря), захватившего верховную власть. Пронзенный кинжалом во время заседания сената, Цезарь упал к подножию мраморной статуи Помпея (Помпей — римский государственный деятель, защитник республиканских законов). В строфах 6 и 7 речь идет об убийстве Марата жирондисткой Шарлоттой Корде («дева Эвменида», то есть богиня мщения).

З а н д — немецкий студент, заколовший в 1819 году реакционного немецкого драматурга Августа Коцебу, бывшего секретным агентом Александра I.

«Без надписи кинжал...» — предназначенный для борьбы против всякого тирана (по средневековым традициям революционные немецкие студенты указывали на кинжале имя того, против кого он будет направлен).

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Стр. 28

О л е г — киевский князь X века.

Х о з а р ы — кочевники монгольского происхождения, населявшие юг России.

П е р у н — славянский бог грома и молнии.

В о л х в — предсказатель; то же, что кудесник.

«Твой щит на вратах Цареграда...» — то есть Константинополя.

П р а щ — снаряд для метания камней; он состоит из кожаного ремня с гнездом для камня.

Г о с т и — в Древней Руси купцы.

Т р и з н а — поминки по умершему.

УЗНИК

Стр. 31

Стихотворение написано после посещения Пушкиным кишиневского острога, во дворе которого жил плененный орел.

ПТИЧКА

Стр. 31

Посылая это стихотворение поэту Н. И. Гнедичу, Пушкин пояснял, что оно написано в связи с «трогательным обычаем» русских крестьян выпускать в пасхальное воскресенье на волю птичку. Гуманность народа Пушкин противопоставляет здесь (так стихотворение и было понято многими современниками) своему гонителю Александру I, упорно отказывавшемуся отпустить поэта на волю — вернуть его из ссылки.

«КТО, ВОЛНЫ, ВАС ОСТАНОВИЛ...»

Стр. 31

Это и стихотворение «Свободы сеятель пустынный...» написаны в связи с разгромом реакционным «Священным союзом» европейских монархов во главе с Александром I освободительных движений в Италии и в Испании и с наступлением реакции в Западной Европе и в России.

ДЕМОН

Стр. 32

Пушкин придавал большое значение этому стихотворению. В образе демона, навещающего поэта, олицетворен скепсис, характерный для Пушкина в тяжелый для него 1823 год. Современники узнавали в демоне сухого и язвительного Александра Николаевича Раевского (1795—1868). Пушкин думал выступить в печати с опровержением этого суждения.

«СВОБОДЫ СЕЯТЕЛЬ ПУСТЫННЫЙ...»

Стр. 32

Эпиграф взят из Евангелия.

В МИХАЙЛОВСКОМ

1824—1826

К ЯЗЫКОВУ

Стр. 33

Обращено к поэту Н. М. Языкову (1803—1846), учившемуся тогда в университете в Дерпте (ныне Тарту) вместе с А. Н. Вульфом, сыном от первого брака П. А. Осиповой, владелицы Тригорского, находящегося по соседству с Михайловским.

О в и д и е в а т е н ь.— Римский поэт Овидий сослан был императором Августом в деревню Скифию, неподалеку от тех мест, где находился во время ссылки на Юг Пушкин, который неоднократно сопоставлял его судьбу со своей.

П р а д е д — Абрам Петрович Ганнибал («арап Петра Великого»), который получил в дар от императрицы Елизаветы Петровны село Михайловское.

«Брат по крови, по душе...» — Лев Пушкин, брат поэта.

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

Стр. 34

Стихотворение было сперва предпослано Пушкиным первой главе «Евгения Онегина».

К о р и н н а — красавица, воспетая римским поэтом Овидием.

«На киферский трон... возносит» — признает равной богине любви Афродите.

А н а к р е о н — Аннакреонт, древнегреческий поэт, автор стихотворений, воспевающих земные наслаждения.

К МОРЮ

Стр. 39

В о т щ е — напрасно.

«Другой от нас умчался гений...» — Речь идет о Байроне, принявшем участие в греческом восстании против турецкого ига и умершем в Греции, в Миссолунги, в апреле 1824 года.

КОВАРНОСТЬ

Стр. 41

Стихотворение предположительно относится к Александру Раевскому, старшему сыну генерала Раевского, который во вред поэту злоупотребил его доверчивостью.

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Стр. 41

Пушкин в сентябре 1820 года на пути из Гурзуфа в Симферополь посетил развалины ханского дворца в Бахчисарае со знаменитым «фонтаном слез», который, согласно преданию, хан Гирей воздвиг в память польской пленницы княжны Потоцкой.

М а р и я и З а р е м а — героини поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1823).

Обращено к Анне Петровне Керн, с которой Пушкин впервые встретился на балу в Петербурге в 1819 году и которая в 1825 году гостила у своей тетки П. А. Осиповой в Тригорском.

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Застольная здравнца Пушкина в честь разума, свободы и искусства.

19 ОКТЯБРЯ («Роняет лес багряный свой убор...»)

Стихотворение посвящено очередной годовщине со дня открытия Лицея; этот день неизменно праздновался лицеистами первого пушкинского выпуска, многие из которых и упомянуты здесь поэтом. В 1825 году Пушкин находился в ссылке в с. Михайловском и не мог присутствовать на празднике.

«Кудрявый наш певец...» (строфа 4)—Корсаков, поэт и музыкант, умерший в Италии в 1820 году.

«Чужих небес любовник беспокойный...» (строфы 5—6)—Матюшкин, морской офицер, впоследствии адмирал.

«О Пущин мой, ты первый посетил...»—И. И. Пущин навестил Пушкина в его михайловской ссылке в январе 1825 года.

С Горчаковым, возвратившимся из-за границы, Пушкин встретился в псковском имении его дяди, находившемся неподалеку от Михайловского.

«На долгую разлуку нас тайный рок, быть может, осудил...» (строфа 6)—слегка видоизмененная фраза из прощальной лицейской песни Дельвига:

«Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!»

Дельвиг посетил Пушкина в апреле 1825 года.

Вильгельм (строфа 13—14)—Кюхельбекер, будущий декабрист, которого Пушкин называет «братом по судьбам», потому что он также подвергался политическим преследованиям (по возвращении из Парнжа, куда он ездил в качестве секретаря А. Л. Нарышкина и где он прочел несколько лекций о русской литературе, не понравившихся русским властям).

«Поговорим о бурных днях Кавказа...»—После возвращения из Парижа Кюхельбекер находился до осени 1823 года на Кавказе при генерале Ермолове.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Стр. 52

М о я с т а р у ш к а — няня Арина Родионовна.

«КАК ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ, ПО ШИРОКОЙ...»

Стр. 53

После трагического исхода восстания декабристов Пушкин написал на основе исторических источников и преданий о Степане Тимофеевиче Разине, вожде одного из наиболее крупных народных восстаний, три «песни» в народном духе и стиле. Первой из них и была данная песня. Возвратив поэта из ссылки, Николай I в качестве особой милости заявил, что сам будет его цензором. Однако пушкинские «песни» печатать он запретил. «Песни о Стеньке Разине»,— сообщал поэту Бенкендорф решение царя,— «при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклиняет Разина, равно как и Пугачева...»

ПРОРОК

Стр. 54

Стихотворение, написанное под тягчайшим впечатлением от казни декабристов, подсказано образами библейских пророков, которые резко выступали против произвола и беззакония царей, за что многие из них были казнены. Выдержано в библейском стиле. Отсюда большое число церковнославянских выражений: персты (пальцы), зеницы (глаза), вещие (всевидающие), вяял (услышал), внемли (слушай), горний (высокий), прозябанье (рост), десница (правая рука), глагол (слово), виждь (повелительная форма от «видеть») и т. д.

ПОСЛЕ ССЫЛКИ

1826—1830

И. И. ПУЩИНУ

Стр. 54

Стихотворное послание к Пущину Пушкин начал писать еще в 1825 году, вскоре после того, как Пущин посетил ссыльного поэта в Михайловском. Но завершил он его только 13 декабря 1826 года, накануне годовщины восстания декабристов. Послание было направлено поэтом Пущину с женой декабриста Н. М. Муравьева, А. Г. Муравьевой, поехавшей к мужу в Сибирь, и передано ему в первый день его приезда в Читинский острог. «Отрадно отозвался во мне голос Пушкина!»—вспоминал об этом Пущин.

СТАНСЫ («В надежде славы и добра...»)

Стр. 55

В стихотворении поэтически намечена программа деятельности, следовать которой Пушкин призывал нового царя. Начатое явным осуждением казни декабристов («мрачили... казни»), оно заканчивается призывом к царю («будь... памятью незлобен») вернуть сосланных на каторгу декабристов.

Долгорукий Яков, князь — один из сановников при Петре I; был известен смелыми спорами с царем и однажды разорвал в Сенате его указ, считая его незаконным.

Пращур — предок.

«ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД...»

Стр. 55

Стихотворение было написано под непосредственным впечатлением от встречи в Москве с Марией Николаевной Волконской (в девичестве Раевской), ехавшей к мужу, декабристу С. Волконскому, сосланному на каторжные работы в Сибирь. Как и послание Пушкину, было направлено в Сибирь с Муравьевой. Один из декабристов, поэт князь Александр Одоевский (впоследствии кавказский друг Лермонтова), ответил Пушкину от лица всех сосланных:

«Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,—
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы,
Она нагрянет на царей,—
И радостно вздохнут народы».

АРИОН

Стр. 56

Арион — греческий поэт и музыкант VII—VI веков до нашей эры. Греческий историк Геродот рассказывает легенду о чудесном спасении Ариона во время морского путешествия в Италию: корабельщики хотели выбросить его в море, чтобы завладеть его богатствами, но он кинулся в волны сам, и, очарованный его пением, дельфин вынес его на берег.

Пользуясь преданием об Арионе (оно сильно изменено Пушкиным), поэт рисует свою судьбу и судьбу своих товарищей-декабристов (под бурей Пушкин понимает крушение восстания 14 декабря 1825 года). Особенно знаменательна строка: «Я гимны прежние пою...» — свидетельство верности поэта своим вольнолюбивым идеалам.

АНГЕЛ

Стр. 57

Связано со стихотворением «Демон» (1823): образу заключительных стихов раннего стихотворения противопоставляется новый обогащенный образ демона.

ПОЭТ

Стр. 57

Написано 15 августа 1827 года в Михайловском, куда Пушкин «бежал» из царской столицы, Петербурга, почувствовав прилив творческих сил.

19 ОКТЯБРЯ 1827 ГОДА («Бог помочь вам, друзья мои...»)

Стр. 58

Посвящено лицейской годовщине. В последнем стихе разумеются декабристы Пущин и Кюхельбекер (Пущин в это время был на каторге, Кюхельбекер — в крепости).

ДРУЗЬЯМ («Нет, я не льстец, когда царю...»)

Стр. 58

Ответ на неправильное восприятие некоторыми современниками Пушкина «Стансов» 1826 года как «лести» царю. Николай I, стремясь расположить к себе общественное мнение, сделал ряд либеральных жестов: сместил наиболее ненавистных реакционных деятелей александровского царствования, стал на сторону греков, боровшихся против турецкого ига

(«оживил войной»), назначил пенсию вдове казненного Рылеева («втайне милости творит»). Все это было той игрой в либерализм, которую Ленин считал характерной чертой русского царизма, начиная с Екатерины II. Но Пушкину это казалось осуществлением того «наказа» — идти путем Петра I, который он преподал Николаю в «Стансах»; в данном стихотворении с особенной силой сказались иллюзорные надежды поэта. В то же время он резко выступает в нем против тех действительно «льстецов» — ближайшего окружения царя, — которые, считал он, мешают осуществлению либеральной правительственной программы. Поэтому Николай, отзывавшись об этом стихотворении для приличия с похвалой, печатать его запретил.

ТЫ И ВЫ

Стр. 59

Обращено к дочери видного культурного деятеля и царедворца А. Н. Оленина, А. А. Олениной, на которой Пушкин имел намерение жениться. Однако ее родители воспротивились этому из-за его поэтической «неблагонадежности».

«ДАР НАПРАСНЫЙ, ДАР СЛУЧАЙНЫЙ...»

Стр. 60

Стихотворение написано поэтом на день своего рождения. Вызвано тем, что «освобождение» его Николаем I (цензурные притеснения, судебные преследования, слежка жандармов) оказалось еще тягостнее для поэта, чем его прежняя ссылка.

«НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА, ПРИ МНЕ...»

Стр. 60

Навеяно пением Олениной грузинской мелодии, которую Грибоедов привез с Кавказа. Слушая ее, Пушкин вспоминает свое путешествие на Кавказ в 1820 году вместе с семьей Раевских и «бедную деву» — Марию Николаевну Раевскую, жизнь которой так тяжело сложилась в связи с трагическим исходом восстания декабристов.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Стр. 61

Вызвано новыми преследованиями поэта со стороны царского правительства.

УТОПЛЕННИК

Стр. 61

В сборнике своих стихов Пушкин придал этому стихотворению подзаголовок «Простонародная сказка».

«ВОРОН К ВОРОНУ ЛЕТИТ...»

Стр. 63

Вольное переложение шотландской народной песни.

ПОЭТ И ТОЛПА

Стр. 66

Позднее критик Писарев неправильно истолковывал это стихотворение как антидемократическое. «Хладный» и «надменный» народ, против которого резко выступает поэт,— это светская «чернь»: высшие придворные и дворянские круги, не понимавшие высокого назначения искусства, требовавшие от него примитивной полезности и пренебрежительно относившиеся к «бесполезной» с их точки зрения поэзии Пушкина, которая к тому же тревожила их своим вольнолюбивым и независимым духом («как ветер песнь его свободна»). Эпиграф к стихотворению взят из поэмы римского поэта Вергилия «Энеида».

К у м и р Б е л ь в е д е р с к и й — знаменитая античная статуя Аполлона.

«НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ ЛЕЖИТ НОЧНАЯ МГЛА...»

Стр. 68

Написано во время поездки Пушкина на театр военных действий в Закавказье. В первой редакции связано с воспоминаниями о поездке с семьей Раевских в 1820 году на Кавказ и с вспыхнувшим с прежней силой чувством к М. Н. Раевской. Несколько позднее во второй, окончательной редакции переадресовано Н. Н. Гончаровой.

КАЛМЫЧКЕ

Стр. 68

Написано во время поездки в 1829 году в Закавказье, в действующую против турок армию. О своем посещении калмыцкой кибитки поэт рассказал в первой главе «Путешествия в Арзрум».

«П о х в а л ь н а я п р и в ы ч к а...» — Во время ссылки на Юг Пушкин провел некоторое время в цыганском таборе.

«Сен-Мар» — модный тогда исторический роман французского поэта Альфреда де Виньи «Сен-Марс, или Заговор времен Людовика XIII», который Пушкин считал чопорным и манерным.

Ma dov'è — «но куда» (итал.) ария из оперы «Покинутая Дидона».

«ЗИМА. ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ В ДЕРЕВНЕ?..»

Стр. 69

Арапник — охотничья плеть.

Протравив — то есть упустив.

КАВКАЗ

Стр. 72

Это и следующее стихотворение навеяны дорожными впечатлениями его время «Путешествия в Арзрум».

ДЕЛИБАШ

Стр. 73

Навеяно одним из эпизодов боя с турками на холмах Саган-Лу, в котором Пушкин принимал участие и которое описал в 3-й главе «Путешествия в Арзрум».

Делибаш (тур.) — удалой наездник.

Лаваш — здесь: конный рассыпной атакующий строй.

К БЮСТУ ЗАВОЕВАТЕЛЯ

Стр. 74

Относится к бюсту Александра I работы датского скульптора Торвальдсена, поставленному в Публичной библиотеке в Петербурге.

ПОЭТУ

Стр. 75

Вызвано непониманием со стороны большинства критиков того времени, восторгавшихся ранними произведениями Пушкина, наиболее зрелых его творений.

МАДОНА

Стр. 75

Стихотворение относится к Н. Н. Гончаровой. В одном из писем к ней поэт сообщал, что «проводит целые часы» перед приписывавшейся Рафаэлю картиной, изображавшей «белокурую Мадону», которая похожа на нее «как две капли воды». Как теперь установлено, картина эта — копия с «Бриджутерской мадонны» Рафаэля; в отличие от подлинника она имеет пейзажный фон («...под пальмою Сиона»).

ТРУД

Стр. 77

Написано в связи с завершением «Евгения Онегина» (начат 9 мая 1823 года и в основном закончен в Болдине 26 сентября 1830 года).

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Стр. 78

Навеяно бронзовой статуей работы скульптора Соколова на сюжет одной из басен Лафонтена, находящейся в царскосельском парке.

ПРОЩАНИЕ

Стр. 78

Предполагается, что стихотворение адресовано гр. Е. К. Воронцовой, которой Пушкин страстно увлекся во время ссылки в Одессе.

«РУМЯНЫЙ КРИТИК МОЙ, НАСМЕШНИК ТОЛСТОПУЗЫЙ...»

Стр. 78

«Индийской заразой» Пушкин называет жестокую холерную эпидемию, охватившую в 1830 году значительную часть страны.

ОТРОК

Стр. 79

Имеется в виду Михаил Васильевич Ломоносов.

ГЕРОЙ

Стр. 80

«Сей ратник, вольностью венчанный...» — Наполеон. В стихотворении упоминаются важнейшие события из жизни Наполеона: поход в Италию через Альпы, экспедиция в Египет, захват высшей государственной власти, женитьба на дочери австрийского императора («кесаря»), поход в Россию. Мемуары Бурьена, в которых опровергался рассказ о посещении Наполеоном в Египте чумного госпиталя, впоследствии оказались подделкой. Дата в конце стихотворения — день приезда Николая I в охваченную холерой Москву. Идея стихотворения, выраженная в последних двух стихах, заключается в том, что истинное геройство немыслимо без великодушия. В них снова звучит скрытый призыв к Николаю I вернуть декабристов из ссылки.

НА ПЕРЕВОД ИЛИАДЫ

Стр. 82

Вызвано выходом из печати перевода «Илиады» Гомера, сделанного поэтом Н. И. Гнедичем, трудившимся над ним около тридцати лет. Перевод на русский язык выполнен размером, близким к подлиннику.

«ДЛЯ БЕРЕГОВ ОТЧИЗНЫ ДАЛЬНОЙ...»

Стр. 82

Навеяно памятью об одесской возлюбленной Пушкина, полунитальянке Амалии Ризнич, которая в мае 1824 года уехала в Италию, где в 1825 году умерла.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Стр. 83

Вызвано напечатанным в «Северной пчеле» пасквилем, в котором продажный журналист и секретный полицейский агент Фаддей Булгарин издевался над происхождением Пушкина от «арапа Петра Великого» — Абрама Ганнибала. Стихотворение не было разрешено Николаем I к печати, но получило широкое распространение в списках и нажило Пушкину много врагов при дворе.

«Не офицер я, не ассессор, а по кресту не дворянин...» — Согласно «табели о рангах», установленной Петром I, дворянином становился каждый, произведенный в офицеры, достигнувший чиновничьего чина коллежского ассессора или получивший за 35-летнюю службу орден — крест Владимира 4-й степени.

В последующих строфах Пушкин резко высмеивает представителей зна-

ти, выдвинувшихся в результате фаворитизма и дворцовых переворотов и ставших опорой самодержавия: «торговал блинами» — князь А. Д. Меншиков; «ваксил царские сапоги» — граф Кутайсов, камердинер Павла I; «пел с придворными дьячками» — граф А. Г. Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы, бывший придворный певчий; «прыгнул в князя» — Безбородко, личный секретарь Екатерины II; «беглый солдат австрийских пудренных дружин» — или отец министра иностранных дел графа Нессельроде, или дед графа Клейнмхеля. Всем этим раболепным надменным выскочкам, чванящимся своим аристократизмом, поэт противопоставляет своих предков, многие из которых сыграли важную роль в истории, подчеркивая при этом дух «упрямства» (в черновом варианте — «мятежный дух»), им свойственный: один из его предков, Федор Пушкин, «не поладил» с Петром I и был казнен в 1697 году за участие в заговоре стрельцов; дед, Лев Александрович Пушкин, в 1762 году, при очередном дворцовом перевороте, организованном гвардейскими офицерами, братьями Орловыми, отказался присягнуть Екатерине II, за что был посажен в крепость. В строфе 4 «нижегородский мещанин» — Кузьма Минин-Сухорук; в строфе 5 «страдальца сын» — Михаил Романов, отец которого, впоследствии патриарх Филарет, был насильно пострижен в монахи и провел много лет в польском плену. В строфе 7 Миних — генерал; при Петре III занимал высокие посты и во время переворота остался на его стороне. В строфе 8 Пушкин противопоставляет себя Мусиным-Пушкиным («Я Пушкин просто, не Мусин»), которые, получив графский титул, вошли в круг придворной аристократии.

В *post scriptum*'е Фиглярин. — Булгарин в своем пасквиле назвал Пушкина «мещанином во дворянстве» (заглавие одной из комедий Мольера).

Г е р б о в а я п е ч а т ь — печать с гербом рода Пушкиных.

«Отец он Ганнибала...» — генерала И. А. Ганнибала, героя Чесменского боя, взявшего турецкую крепость Наварин, строителя Херсона.

М е щ а н с к а я — улица в Петербурге, известна как средоточие притонов, с одним из которых была ранее связана жена Булгарина.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

1831—1836

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

Стр. 85

Н а р о д н ы е в и т и и — депутаты французского парламента, требовавшие в связи с польским восстанием 1830 года нового вооруженного похода на Россию.

П р а г а — укрепленное предместье Варшавы.

И з м а и л ь с к и й ш т ы к — имеется в виду взятие войсками Суворова крепости Измаил в 1790 году.

Т а в р и д а — Крым.

К о л х и д а — древнее название кавказского побережья Черного моря.

«ЧЕМ ЧАЩЕ ПРАЗДНУЕТ ЛИЦЕЙ...»

Стр. 86

«Шесть мест упраздненных стоят...» — К этому времени умерло шесть лицейстов первого выпуска. Особенно потрясен был Пушкин смертью Дельвига, умершего 14 января 1831 года.

ГУСАР

Стр. 87

Стихотворение — переложение народной украинской сказки.

«СВАТ ИВАН, КАК ПИТЬ МЫ СТАНЕМ...»

Стр. 91

Написано в тоне застольных народных поминаний покойников.

БУДРЫС И ЕГО СЫНОВЬЯ

Стр. 91

Перевод баллады Адама Мицкевича «Три Будрыса».

ВОЕВОДА

Стр. 93

Перевод баллады А. Мицкевича «Дозор».

ОСЕНЬ (отрывок)

Стр. 95

Написано в Болдине осенью 1833 года. Эпиграф из стихотворения Державина «Евгению. Жизнь Званская».

«ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА...»

Стр. 98

Пушкина очень тяготила петербургская светская жизнь. Стихотворение обращено к жене. Он мечтал уехать к себе в деревню, где мог полностью

предаться литературному труду. Мечты эти, из-за нежелания царя выпустить поэта из-под своего непосредственного надзора, оказались неосуществимыми, что и вызвало трагическую преждевременную гибель поэта. Тягостные и мрачные переживания Пушкина, ощущавшего себя пленником — «рабом» — самодержавия, отразились и в предшествующем стихотворении.

ПЕСНЯ О ГЕОРГИИ ЧЕРНОМ

Стр. 98

Г е о р г и й Ч е р н ы й (Кара Георгий) — глава сербского национально-освободительного движения в начале XIX века, не останавливавшийся ни перед чем ради достижения своей высокой цели. Это оригинальное стихотворение, как и следующее — «Конь», переведенное из сборника французского писателя Мериме «Гузла», входит в пушкинский цикл «Песен западных славян».

ПОЛКОВОДЕЦ

Стр. 100

П а л а т а. — Военная галерея бывшего Зимнего дворца, в которой помещены портреты участников войны 1812—1814 годов, писанные английским художником Доу.

Стихотворение, напечатанное в пушкинском журнале «Современник» (1836), вызвало нарекания на поэта, якобы умалившего значение Кутузова. Пушкин напечатал в «Современнике» объяснение, указывая, что признание заслуг «заслуженного полководца» генерала Барклая де Толли не умаляет славы его «бессмертного преемника» Кутузова.

«...ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ...»

Стр. 102

Написано в связи с приездом осенью 1835 года в Михайловское. Няня Пушкина умерла в 1828 году.

ПИР ПЕТРА ПЕРВОГО

Стр. 103

В этом стихотворении, написанном в 1835 году, в десятую годовщину декабрьского восстания, снова содержится призыв к освобождению Николаем декабристов.

Б р а н т о в б о т — морской ботик царя Алексея Михайловича, случайно обнаруженный Петром и приведенный в порядок корабельным подмасте-

рьем голландцем Брантом. Ботик, положивший начало русскому флоту, был доставлен в Петербург, где ему была устроена торжественная встреча.

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ...»

Стр. 105

А л е к с а н д р и й с к и й с т о л п — колонна, воздвигнутая в Петербурге в честь Александра I. Пушкин специально уехал из Петербурга, чтобы не присутствовать на торжестве ее открытия. Эпиграф взят из знаменитой оды римского поэта Горация «К Мельпомене».



ЭПИГРАММЫ

«О МУЗА ПЛАМЕННОЙ САТИРЫ!..»

Стр. 106

Есть свидетельство, что Пушкин предполагал начать этим стихотворением задуманное было им отдельное издание своих эпиграмм.

Ю в е н а л (I—II в. н. э.) — римский поэт-сатирик.

К л е в р е т ы — сторонники.

НА КАРАМЗИНА

Стр. 107

Направлено против Карамзина как автора «Истории Государства Российского», первые восемь томов которой вышли в 1818 году и сразу же — «с жадностью и со вниманием» — были прочитаны Пушкиным. Пушкин высоко оценил громадный, основанный на первоисточниках многолетний труд Карамзина, но решительно не одобрял восхваления им царского самодержавия.

НА СТУРДЗУ

Стр. 107

Эпиграмма относится к дипломату и реакционному публицисту А. С. Стурдзе. Он сопровождал Александра I на конгресс «Священного союза» в Аахене (1818) и составил по его поручению записку, в которой изобразил германские университеты как очаги революционной пропаганды. В студенческих организациях решено было убить Стурдзу; последний поспешил вернуться в Россию и тем избежал участи реакционного драматурга Занда Коцебу (см. примечание к стихотворению «Кинжал», стр. 650).

Венчан н ы й с о л д а т — Александр I.

Герострат — грек, сжегший храм богини Дианы в Эфесе, чтобы увековечить свое имя.

«ПОЛУ-МИЛОРД, ПОЛУ-КУПЕЦ...»

Стр. 107

Пушкин называет новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова, под начальством которого он служил во время ссылки в Одессе, «полу-милордом» за его англomанию, а «полу-купцом» — намекая на его участие в торговых спекуляциях Одесского порта.

«ОХОТНИК ДО ЖУРНАЛЬНОЙ ДРАКИ...»

Стр. 108

Под «усыпительным зоилом» разумеется проф. Каченовский, редактор — издатель журнала «Вестник Европы», нападавший на все новое и свежее в литературе и особенно на Пушкина.

«СКАЗАЛИ РАЗ ЦАРЮ...»

Стр. 108

Пушкин имеет в виду эпизод, происшедший в 1823 году в Тульчине, во время смотра второй армии в присутствии Александра I. За обедом Александру подали письмо, в котором сообщалось о взятии в плен вождя испанских революционеров Риэго. Когда царь поздравил с этим известием сидящих за столом, все замолчали и потупили глаза, так как понимали, какая участь ожидает Риэго. Один Воронцов выразил радость: «Какая счастливая новость, государь!» В стихотворении Пушкина Воронцов произносит эти слова не по поводу взятия в плен Риэго, а по поводу его повешения.

ПРИЯТЕЛЯМ

Стр. 108

Эпиграмма была опубликована в «Московском телеграфе» под измененным редакцией заглавием «Журнальным приятелям». Однако Пушкин опротестовал это в печати, указав, что слово «журнальным» следует снять. Тем самым он подчеркнул, что эпиграмма имеет гораздо более широкий, чем только литературный адрес.

EX UNGUE LEONEM

Стр. 108

Стихотворение относится к редактору журнала «Благонамеренный» Измайлову, который в заметке по поводу пушкинской эпиграммы «Пряте-лям» посмеялся над тем, что «у господина сочинителя есть когти». Это был намек на длинные ногти Пушкина. «Ex ungue Leonem» — латинская пословица: «По когтям узнают льва».

«ВОСПИТАННЫЙ ПОД БАРАБАНОМ...»

Стр. 109

В эпиграмме дана уничтожающая характеристика личности и деятельности Александра I; упоминается поражение по его вине союзных армий в бою с Наполеоном под Аустерлицем в 1805 году, трусливое поведение во время Отечественной войны 1812 года, иронически оценивается и его деятельность в качестве главы «Священного союза» («коллежский асессор» — мелкий чиновник).

ЭПИГРАММА (Из Антологии)

Стр. 109

Стихотворение относится к начинающему поэту А. Н. Муравьеву, который нечаянно отбил руку у гипсовой статуи Аполлона, находившейся в Московском литературном салоне Зинаиды Волконской, и тут же написал на пьедестале крайне неуклюжие стихи в извинение своей неловкости. Подзаголовок иронический: стихотворение выдается за перевод из Антологии — собрания стихотворений древнегреческих поэтов.

САПОЖНИК (Притча)

Стр. 109

В этой эпиграмме, направленной на Надеждина и написанной в басенной форме, Пушкин использовал рассказ о древнегреческом живописце Апеллесе.

ЭПИГРАММА («Мальчишка Фебу гимн поднес...»)

Стр. 110

Ответ на выходку Надеждина, который, выступая против Пушкина, заявил, что раннее начало им литературной деятельности еще не свидетельствует о гениальности, и сослался при этом на эпиграмму его дяди, Ва-

силія Львовича Пушкина. В ней изображается юный стихотворец, который прислал на Парнас свои оды. Феб, узнав, что ему пятнадцать лет, переспрашивает: «Пятнадцать только лет?» — «Не более того!» — «Так розгами его!»

Тетрадь лакейских диссертаций.— Надеждин написал диссертацию на латинском языке «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической».

ЭПИГРАММА («Не то беда, Авдей Флюгарин...»)

Стр. 110

Направлена против Фаддея Булгарина, которого Пушкин клеймит как ренегата, сражавшегося в 1812 году с Наполеоном против России, а затем сменившего польское подданство на русское (Флюгарин), как беспринципного торговца-журналиста и литератора (цыган) и, наконец, как тайного агента Бенкендорфа, называя Булгарина именем французского полицейского сыщика — Видока.

Скучный роман — исторический роман Булгарина «Дмитрий Самозванец», в котором он сделал ряд заимствований из неопубликованного еще тогда «Бориса Годунова», рукопись которого Бенкендорф передал ему для негласного отзыва.



ПОЭМЫ

ЦЫГАНЫ

Стр. 113

Бытовые подробности поэмы, написанной в 1824 году, навеяны личными впечатлениями Пушкина: в период своего пребывания в ссылке в Кишиневе (1820—1823) он присоединился однажды к цыганскому табору и вместе с ним странствовал несколько дней по окрестным местам.

Предрассуждения — предрассудки.

«Меж нами есть одно преданье...» — В уста старого цыгана Пушкин вложил рассказ о сосланном к устью Дуная древнеримском поэте Овидии.

Кагул — река в Бессарабии, приток Дуная.

Буджак — южная часть Бессарабии.

Аккерман — город в Бессарабии.

Денница — утренняя заря.

Брань — война, сражение.

ГРАФ НУЛИН

Стр. 131

Поэма написана в декабре 1825 года.

Чекмень — короткий кафтан, перехваченный в талии.

Отъезжее поле — дальнее поле, где производилась охота.

Гизот — Гизо, французский историк и политический деятель XIX века.

Вальтер Скотт — английский писатель конца XVIII — первой половины XIX века, автор исторических романов.

Б е р а н ж е р, или Б е р а н ж е,— французский поэт-песенник XIX века.

Р о с с н и — итальянский композитор XIX века.

П е р (точнее — Паэр) — итальянский оперный композитор конца XVIII — начала XIX века.

Т а л ь м á — французский трагический актер начала XIX века.

П о т ь é — французский комический актер.

Д а р л е н к у р — д'Арленкур, французский романист XIX века.

Л а м а р т и н — французский поэт XIX века.

Т е л е г р а ф — «Московский телеграф», один из передовых журналов пушкинского времени. Для привлечения подписчиков в конце каждого номера помещал модные картинки.

В о д е в и л ь — небольшая комическая пьеса с куплетами для пения.

Щипцы с пружиной служили для того, чтобы снимать нагар со свеч.

Л у к р е ц и я — героиня одноименной поэмы Шекспира, жена знатного римлянина. Обещанная римским царем Тарквинием Гордым, Лукреция закололась.

В ы п и с н ы е — то есть изысканные. Первоначальное значение — заграничные, привозные.

ПОЛТАВА

Стр. 141

Поэма написана в октябре 1828 года, по словам самого Пушкина — «в несколько дней».

Первому изданию поэмы, вышедшему в 1829 году, было предпослано следующее авторское предисловие:

«Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага, утвердила русское владычество на юге, обеспечила новые заведения на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем.

Ошибки шведского короля вошли в пословицу. Его упрекают в неосторожности, находят его поход на Украину безрассудным. На критиков не угодишь, особенно после неудачи. Карл, однако же, сим походом избегнул славной ошибки Наполеона: он не пошел на Москву. И мог ли он ожидать, что Малороссия, всегда беспокойная, не будет увлечена примером своего гетмана и не возмутится противу недавнего владычества Петра, что Левенгаупт три дня сряду будет разбит, что, наконец, 25 000 шведов, предводительствуемых своим королем, побегут перед нарвскими беглецами. Сам Петр долго колебался, избегая главного сражения, яко зело опасного дела. В сем походе Карл XII менее нежели когда-нибудь вверялся своему счастью: оно уступило гению Петра.

Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи.

Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича — своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковью анафеме, не может избежать и проклятия человечества.

Некто в романтической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим перед вооруженной женщиной, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме, и проч. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица».

Говоря о «некоторых писателях», которые хотели сделать из Мазепы «героя свободы», Пушкин имеет в виду поэта-декабриста К. Ф. Рылеева, автора поэмы «Войнаровский». Создавая в этой поэме образ Мазепы и его племянника Войнаровского, Рылеев не заботился об исторической правде, а использовал эти образы для проповеди декабристских идей. Вопреки исторической действительности, Мазепа и Войнаровский в поэме Рылеева представлены борцами за свободу.

Автор «романтической повести», в которой Мазепа изображен «старым трусом», — А л а д ь и н, написавший повесть «Кочубей».

Эпиграф к «Полтаве» взят Пушкиным из поэмы Байрона «Мазепа» (1819). Историческим источником, которым пользовался Байрон, создавая поэму «Мазепа», было сочинение Вольтера «История Карла XII». Центральное место поэмы — это рассказ о том, как дикий конь мчит связанного Мазепу по степям Украины. В основе рассказа лежит эпизод, якобы случившийся с Мазепой в юности, когда он жил при дворе польского короля Яна-Казимира. Какой-то польский пан, в жену которого влюбился Мазепа, привязал его к спине дикого коня из украинских степей. Конь понесся на Украину, измученного Мазепу приютили казаки.

«Наши критики, разбирая Полтаву, упомянули о Байроновом Мазепе, — писал Пушкин. — Они его не понимают... Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой Истории Карла XII. Байрон поражен был только картиной человека, связанного на дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая. И зато посмотрите, что он из нее сделал! Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного характера, который проявляется во всех почти произведениях Байрона — но которого (на беду моим критикам) в Мазепе именно и нет. Байрон и не думал о нем. Он выставил ряд картин, одна другой разительнее. Вот и все... Чем больше думаю, тем сильнее чувствую, какой отвратительный предмет для художника в лице Мазепы. Ни одного доброго, благородного чувства! Ни одной утешительной черты! Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, — вот что увлекло меня».

Посвящение обращено, очевидно, к Марии Николаевне Раевской, внушившей поэту сильное и глубокое чувство во время поездки по Кавказу и

Крым вместе с семьей ее отца; впоследствии Раевская вышла замуж за декабриста С. Г. Волконского и после его осуждения последовала за ним на каторгу в Сибирь.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Стр. 142

«Он шел путем, где след оставил в дни наши новый, сильный враг...» — Имеется в виду Наполеон I и его поход на Москву во время Отечественной войны в 1812 году.

«Богдана счастливые споры...» — Богдан Хмельницкий (ум. 1657), украинский гетман, герой национально-освободительной борьбы украинского народа против шляхетской Польши; при нем в 1654 году было принято решение о воссоединении Украины с Россией.

Ц и ф р — шифр, секретная запись.

«Торгуют клятвами вассалов...» — Пушкин имеет в виду переговоры Мазепы с польским королем о присоединении Украины к Польше. Под клятвами вассалов понимаются обязательства, которыми Украина была связана с Россией (вассалы — в средние века землевладельцы, зависимые от владетельных князей и связанные с ними клятвенными обязательствами, главным образом военными).

О ч а к о в — турецкая крепость.

И у д а — по евангельской легенде, один из учеников Христа, предавший его.

Б е л ы й ц а р ь — так называли русского царя народы Азии.

П е н и — упреки.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Стр. 154

Б е л а я Ц е р к о в ь — местечко в ста километрах к югу от Киева.

К л е в р е т — союзник, приспешник.

З а б е л а — украинский деятель XVII века, участник восстания Хмельницкого; при Мазепе он занимал должность «генерального обозного», высший чин после гетмана.

Г а м а л е я — в XVII веке один из предводителей украинского казачества.

Г р о м а д а в о й с к о в а я — казачий войсковой круг, казацкое войско.

«Когда его не осенит десница вышняя господня...» — то есть если его не спасет чудо (буквально: если бог не защитит его своей рукой).

Л и к и — церковный хор.

Ч е п р а к — подстилка под седло.

«Елей таинственный течет...» — По уставу христианской церкви, над умирающим совершали особый обряд: помазание маслом — елеем.

«Так оный хитрый кардинал, венчавшись римскою тиарой, и прям, и здрав, и молод стал». — Имеется в виду кардинал Монтальто (XVI в.), возвысившийся путем хитрости и притворства и избранный папой римским под именем Сикста V.

Т н а р а — корона римских пап.

А н а ф е м а — церковное проклятие.

Р а д а — собрание, сход у казаков.

«Горит восток зарею новой. Уж на равнине, по холмам грохочут пушки...» — Полтавская битва, описанная Пушкиным, произошла 27 июня 1709 года.

Р о з е н и Ш л и п е н б а х — шведские генералы.

Ш е р е м е т е в — генерал-фельдмаршал, один из виднейших военачальников петровского времени.

Б р ю с, Б о у р, Р е п н и н — русские генералы, участвовавшие в Полтавском сражении.

«И, счастья баловень безродный, полудержавный властелин...» — имеется в виду Меншиков, один из ближайших сподвижников Петра I.

Б р а з д ы — удила уздечки.

В о й н а р о в с к и й — племянник Мазепы, участник его заговора.

Д р а б а н т ы — личная охрана главнокомандующего на поле боя.

«В стране — где мельниц ряд крылатый...» — Разгромленный под Полтавой, Карл XII бежал в Бессарабию, находившуюся под властью Турции, и прожил здесь несколько лет. По настоянию Петра турецкое правительство потребовало наконец, чтобы Карл покинул пределы страны. Он был со своим немногочисленным отрядом окружен турками и после ожесточенного сопротивления сдался им в плен («бросил шпагу под бунчук»).

Б е н д е р ы — город в Бессарабии.

Р а с к а т ы — крепостные сооружения, на которых устанавливались пушки.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Петербургская повесть

Стр. 182

Поэма написана в 1833 году. Не была разрешена Николаем I к печати.

Б е р х В. Н. — автор книги «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге», использованной Пушкиным при работе над «Медным всадником».

В с е ф л а г и — то есть корабли под флагами всех государств.

П о р ф и р а — царская мантия.

А д м и р а л т е й с к а я и г л а — золоченый шпиль на здании Адмиралтейства в Петербурге.

П о т е ш н ы е — от слова «потеха», то есть зрелище. Пушкин говорит о военных парадах, происходивших в Петербурге на Марсовом поле.

П о л н о щ н а я — северная, то есть русская.

П е т р о п о л ь — Петербург («полис» — по-гречески «город»).

П о к о й н ы й ц а р ь — Александр I. Он умер в конце 1825 года.

С т о г н ы — площади.

Б а г р я н и ц а — царский плащ, или мантия, красного (багряного) цвета.

Х в о с т о в — бездарный поэт-графоман, неизменный предмет насмешек Пушкина и его друзей-литераторов.

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Стр. 195

Сказка написана осенью 1833 года, напечатана в 1835 году.



ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

БОРИС ГОДУНОВ

Стр. 203

Трагедия «Борис Годунов» была начата Пушкиным в декабре 1824 года и окончена 7 ноября 1825 года в селе Михайловском. По возвращении из ссылки в Москву Пушкин несколько раз читал свою трагедию друзьям-литераторам, за что получил строгий выговор от шефа жандармов Бенкендорфа. Николай I, которому Пушкин должен был дать ее на просмотр, поручил это Ф. Булгарину. Последний указал на ряд «недопустимых», с его точки зрения, мест («Монахи слишком представлены в развратном виде», «царская власть представлена в ужасном виде»), отметил, что в народных сценах совсем не выказывается любви и преданности к царю. Николай I не позволил печатать трагедию и сделал Пушкину нелепое предложение: «с нужным очищением» переделать ее «в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта». Пушкин не согласился с этим и предпочел вовсе отказаться от печатания своей трагедии. Только в 1831 году, через пять с лишним лет после написания, «Борис Годунов» был напечатан с исключением отдельных эпизодов.

Постановка «Бориса Годунова» на сцене смогла состояться лишь в 1870 году.

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ

Стр. 203

П а т р и а р х — глава церкви.

Д у м н ы е б о я р е — члены Боярской думы, высшего правительственного органа Московского государства.

В е л и к и й с о б о р.— Для решения особо важных государственных вопросов созывался Земский собор из представителей боярства, духовенства, дворянства и купечества. Такой собор созван был 17 февраля 1598 года для избрания нового царя.

М о н а х и н я - ц а р и ц а — Ирина Федоровна, вдова царя Федора Ивановича, сестра Бориса Годунова.

«Да в добрый час, как дядю моего... тихонько б задавили». — Имеется в виду брат деда В. И. Шуйского, князь Андрей Иванович Шуйский. В 1587 году за организацию заговора против Годунова был сослан в Каргополь и там удушен.

«Возьмет венец и бармы Мономаха...» — **В л а д и м и р М о н о м а х** (1053—1125) — великий князь Киевский. Первые венец и бармы (драгоценные оплечья, украшенные изображениями святых) были, по преданию, присланы Владимиру Мономаху византийским императором. Этим венцом — «шапкой Мономаха» — венчались на царство все московские цари до Петра I.

«Не мало нас, наследников Варяга...» — то есть наследников легендарного основателя русского государства и родоначальника ряда княжеских и дворянских фамилий Рюрика, выходца из Скандинавии.

К Р А С Н А Я П Л О Щ А Д Ъ

Стр. 206

В е р х о в н ы й д ъ я к — чиновник, ведавший делами Боярской думы; при Иване Грозном, Федоре Ивановиче и Борисе Годунове им был В. Я. Щелкалов, один из близких людей Годунова.

К р а с н о е к р ы л ь ц о — парадное крыльцо во дворце московских царей.

Х о р у г в ь — большое полотнище на длинном древке с изображением святого или святых.

С и н к л и т — собрание высшего духовенства, сановников.

Д Е В И Ч Ь Е П О Л Е . Н О В О Д Е В И Ч И Й М О Н А С Т Ы Р Ъ

Стр. 207

Б у к а — фантастическое существо, которым пугали маленьких детей.

К Р Е М Л Е В С К И Е П А Л А Т Ы

Стр. 209

«Наследую могущим Иоаннам... ангелу-царю...» — царям Ивану III (1440—1505), Ивану IV (1530—1584) и Федору Ивановичу (1557—1598).

Чудов монастырь — монастырь, находившийся в Московском Кремле; основан в XIV веке; состоял в ведении патриарха.

Хартия — старинная рукопись.

«Дьяк, в приказах поседель...» — Дьяк — чиновник, работавший в центральных административно-судебных учреждениях Московской Руси — приказах.

«Днесь, и присно...» — и сегодня, и всегда.

Клобук — головной монашеский убор.

Крошеники — опричники.

Тафья — круглая восточная шапочка, шитая золотом и жемчугом.

Власница — грубая одежда монахов, давших обет строгого воздержания.

Чернецами — монахами.

«Игуменом смиренным...» — Игумен — монах, стоявший во главе монастыря.

«Схиму... честную восприму...» — Схима — монашеская степень, налагавшая на ее носителя особенно суровые аскетические обязанности.

Молчальник — монах, давший обет вечного молчания.

Зане — так как, потому что.

Вохрамине — в комнатах, палатах.

«На некое был послан послушанье...» — Послушанье — задание, выполняемое монахом по специальному поручению монастырского начальства.

«Безбожную предательницу-мамку». — По слухам, кормилица царевича Дмитрия была участницей его убийства.

Угодников — праведников, святых.

Кзаутрене — к ранней церковной службе.

ПАЛАТЫ ПАТРИАРХА

Канон — церковные песнопения.

Ересь — ложное учение, ложная мысль.

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Столник — младшая придворная должность.

«Смерть уносит жениха...» — Женихом Ксении Годуновой был брат датского короля Христиана IV; умер вскоре по приезде в Московское государство.

Б р о д я г и - ч е р н е ц ы — беглые монахи.

М и р я н и н о м.— М и р я н и н — человек, в противоположность монаху, живущий среди людей — «в миру».

Г у д о к — род старинной скрипки в три струны.

К о б ы л а — скамья, на которой производились телесные наказания.

Ю р ь е в д е н ь — 26 ноября. Безземельные крестьяне издавна имели право переходить с места на место, от одного помещика к другому, за неделю до Юрьева дня и в течение недели после него. Отмена Юрьева дня, которая связывалась с именем Годунова (на самом деле Юрьев день начал отменять уже Иван Грозный), положила начало полному закрепощению крестьян. Отсюда и поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

С т о л б о в а я д о р о г а — большая проезжая дорога с верстовыми столбами.

«Прииде грех велий на языци земнии...» — церковнославянская фраза, значит: распространился грех великий на земные народы.

«Пустился... в мытарства...» — в обманы, в плутовство.

«Трех полушек не вымолишь...» — П о л у ш к а — старинная монета, равная четверти копейки.

П о н о м а р ь — низшая церковная должность.

МОСКВА. ДОМ ШУЙСКОГО

«Он слугою был у Вишневецкого...» — В и ш н е в е ц к и й А д а м — представитель старинного литовского княжеского рода; первым признал самозванца сыном Грозного, Дмитрием, и представил его своему родственнику, князю К. Вишневецкому, который, в свою очередь, познакомил его со своим свояком Юрием Мнишком.

«Уехал к Сигизмунду...» — С и г и з м у н д ІІІ (1566—1632) — польский король с 1587 года.

«Московских беглецов...» — Имеются в виду родовитые бояре, бежавшие в Польшу.

«Все языки, готовые продать...» — доносчики.

КРАКОВ. ДОМ ВИШНЕВЕЦКОГО

С е в е р н а я ц е р к о в ь — православная церковь.

В л а с т ь н а м е с т н и к а П е т р а — власть римского папы, главы католической церкви.

С в я т ы й И г н а т и й — Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов.

С а м б о р — город на реке Днестре, где находилось родовое имение Мнишков.

«Родственник казанскому герою...» — «Казанским героем» самозванец называет участника Казанского похода Ивана IV — князя Андрея Курбского, противника Ивана IV.

Г о р о д О л ь г и н — Псков.

Б а т о р и е м. — Б а т о р и й С т е ф а н — польский король с 1575 года по 1586 год.

К а р е л а — атаман донских казаков; выступил на стороне самозванца и, захватив крепость Кромь, недалеко от Орла, защищал ее от войск Годунова до самой смерти последнего.

Б у н ч у к и — войсковые знаки в казачьих войсках: длинная палка с шаром на конце и привязанными к нему несколькими конскими хвостами.

П а р н а с с к и е ц в е т ы — стихи.

ЗАМОК ВОЕВОДЫ МНИШКА В САМБОРЕ

Стр. 240

«П о л ь с к и й» — полонез, торжественный старинный польский танец.

К л е в р е т о в — сторонников, приверженцев.

К у р е н ь — войсковое объединение запорожских казаков.

ГРАНИЦА ЛИТОВСКАЯ

Стр. 248

«В Красную Москву...» — К р а с н а я (красивая) — постоянный народный эпитет.

ЦАРСКАЯ ДУМА

Стр. 250

Р а с с т р и г а — лишенный сана (расстриженный) монах или священник.

С в е й с к и й г о с у д а р ь — шведский король.

С л у ж и т е л ь п р и ч е т н ы х — церковных и монастырских прислужников.

«Указ царя и приговор боярский...» — юридическая формула, сообщавшая данному постановлению силу закона.

РАВНИНА БЛИЗ НОВГОРОДА-СЕВЕРСКОГО

Стр. 253

Маржерет — выходец из Франции; был поставлен Годуновым во главе наемного конного отряда иноземцев; позднее служил Лжедмитрию I, Василию Шуйскому и Лжедмитрию II.

Вальтер Розен — ливонский дворянин, командовавший отрядом наемной пехоты Годунова.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ

Стр. 256

Анафема — отлучение от церкви, проклятие.

Вериги — цепи, оковы, которые носили на себе добровольно религиозные фанатики.

Ирод — царь Иудеи; по евангельскому преданию, приказал убить всех младенцев мужского пола, опасаясь, что между ними может быть будущий претендент на царство.

СЕВСК

Стр. 258

«Мстиславского». — **Князь Федор Иванович Мстиславский** — из знатнейшего боярского рода; с 1586 года — первый член Боярской думы. Годуновым был назначен командующим войсками против самозванца.

МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Стр. 263

«Пускай их спесь о местничестве тужит...» — В Московской Руси государственные должности распределялись не по личным заслугам, а по знатности рода. Уничтожено местничество было значительно позднее, при царе Федоре Алексеевиче, в 1682 году.

Разрядны книги — книги, в которые заносились царские указы о назначении на военную и гражданскую службу. Записи эти тщательно учитывались при новых назначениях и служили главным основанием для местничества; были сожжены при его уничтожении.

«Иоанн, смиритель бурь...» — царь Иван III.

«Его свирепый внук...» — царь Иван IV (Грозный).

Духовник — священник, принимающий исповедь.

«Твоего... дядю...» — царя Федора Ивановича.

СТАВКА

Стр. 268

«Он для меня презрел и чин разрядный...» — то есть назначил на должность, не считаясь со старшинством рода, закрепленным в разрядных книгах.

ЛОБНОЕ МЕСТО

Стр. 270

На амвоне; амвон — здесь: возвышение.

«На внука Мономаха...» — здесь в смысле: потомка Мономаха.

Людей приказных — чиновников.

СКУПОЙ РЫЦАРЬ

Стр. 274

Трагедия «Скупой рыцарь» задумана, как и следующая маленькая трагедия — «Моцарт и Сальери», еще в 1826 году (план относится к началу января 1826 года) и закончена в Болдине 23 октября 1830 года. Она была опубликована только в 1836 году в «Современнике», т. I, за подписью «Р» (французский инициал фамилии Пушкина). Первое представление «Скупого рыцаря» должно было состояться в Александринском театре, через три дня после смерти Пушкина, но по требованию властей, опасавшихся выражения сочувствия публики убитому поэту, трагедия была снята и заменена водевилем.

СЦЕНА I

Стр. 274

Пращур — предок.

СЦЕНА II

Стр. 281

Дублон — старинная испанская золотая монета.

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Стр. 289

Пьеса закончена Пушкиным в Болдине 26 октября 1830 года. Впервые напечатана в альманахе «Северные цветы на 1832 год».

В 1824 — 1825 годах в печати широко распространились слухи, будто итальянский композитор Антонио Сальери (1750—1825) на смертном одре признался в отравлении им знаменитого австрийского композитора Моцарта (1756—1791). Друзья Сальери выступили против этого, как против клеветы, считая его признание результатом психического расстройства. В бумагах Пушкина сохранилась следующая заметка, набросанная им в начале 30-х годов:

«В первое представление *Дон Жуана*, в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта,— раздался свист — все обратились с негодованием, и знаменитый Салиери вышел из зала — в бешенстве снедаемый завистью. Салиери умер лет восемь тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать *Дон Жуана*, мог отравить его творца».

СЦЕНА I

Стр. 289

П и ч ч и н и — итальянский композитор XVIII века.

«И ф и г е н и я» — опера Глюка, который написал две оперы на этот сюжет: «Ифигения в Тавриде» и «Ифигения в Авлиде».

Р а ф а э л ь — итальянский художник конца XV — начала XVI века, автор знаменитой «Сикстинской мадонны» (в Дрезденской галерее).

А л и г ь е р и (Данте Алигьери) — великий итальянский поэт второй половины XIII — начала XIV века, автор поэмы «Божественная комедия».

Г а й д е н.— **Г а й д н** — австрийский композитор XVIII века.

СЦЕНА II

Стр. 294

«Бомарше кого-то отравил...» — Бомарше был два раза женат, и обе его жены умерли вскоре после свадьбы. Пошли сплетни о том, что Бомарше их отравил.

«Т а р а р» — опера Сальери на текст Бомарше.

Б о м а р ш е — французский драматург и публицист XVIII века, автор комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».

Б о н а р о т т и.— **М и к е л а н д ж е л о Б у о н а р р о т т и** (1475—1564)— великий итальянский скульптор, живописец и архитектор; главный зодчий ватиканского собора святого Петра и создатель его изумительного купола. О нем ходила легенда, будто он убил своего натурщика, чтобы правдивее изобразить на картине страдания распятого на кресте Христа.

РУСАЛКА

Стр. 298

Писалась между ноябрем 1829 года и апрелем 1832 года. Опубликовано только после смерти Пушкина. Заглавие в рукописи отсутствует. Из дошедшего до нас плана «Русалки» видно, что она была почти закончена Пушкиным (остался невыполненным только последний пункт плана: «Охотники»).

Л о в ч и й — княжеский слуга, ведавший охотой.



ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Роман в стихах

Стр. 321

Пушкин работал над «Евгением Онегиным» в общей сложности около восьми лет.

Роман был начат 9 мая 1823 года в Кишиневе, в октябре того же года была закончена первая глава, в декабре — вторая. Третья глава писалась с февраля по октябрь 1824 года; закончив ее, поэт сразу же приступил к четвертой главе, законченной только в январе 1826 года. В том же 1826 году были написаны пятая и шестая главы. Седьмая глава была начата в марте 1827 года и окончена в ноябре 1828 года. Восьмая глава, по первоначальному замыслу, посвящалась странствованиям Онегина по России; поэт писал ее осенью 1829 года, однако потом он изъясил ее из основного текста романа. Лишь недавно стала известна причина этого: в главе содержалось резкое обличение аракчеевских «военных поселений». Отдельные строфы этой уничтоженной главы Пушкин напечатал в виде приложения к роману, назвав их «Отрывками из Путешествия Онегина».

Над последней, девятой, главой (ставшей теперь восьмой) поэт работал с декабря 1829 года по сентябрь 1830 года.

Работа над романом, однако, не была все еще полностью закончена. Девятая глава после исключения из основного текста романа главы восьмой подверглась в связи с этим дополнительной переработке. Кроме того, Пушкин начал набрасывать новую, десятую, главу романа, в которой касался событий 1812 года, дал резкий сатирический портрет Александра I и смело писал о движении декабристов.

На каком именно этапе Пушкин прервал работу над этой главой, не установлено. Известно только, что той же осенью 1830 года он сжег все написанное им для этой главы, записав уничтоженный текст особым шифром; от этой шифрованной записи дошли до нас лишь начальные четверостишия написанных строф. Этот шифр был раскрыт лишь через много де-

сятилетий. О расшифровке отрывков из десятой главы подробно говорится в комментариях С. М. Бонди в книге: А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Детгиз, 1957.

Главы романа по мере их написания издавались отдельными книжками. Первая глава была снабжена следующим авторским предисловием:

«Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено.

Несколько песен, или глав, Евгения Онегина уже готовы. Писанные под влиянием благоприятных обстоятельств, они носят на себе отпечаток веселости, ознаменовавшей первые произведения автора «Руслана и Людмилы».

Первая глава представляет нечто целое. Она в себе включает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года и напоминает «Беппо», шуточное произведение мрачного Байрона.

Дальновидные критики заметят, конечно, недостаток плана. Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного. Станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника, также некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих *чувство уныния поглотило все прочие*. Но да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов».

Вслед за предисловием было помещено стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом» (см. стр. 34).

Первое полное издание «Евгения Онегина» вышло в свет в 1833 году.

Некоторые строфы в окончательном тексте романа обозначены только цифрами. В черновых рукописях Пушкина эти строфы по большей части сохранились. Исключению они подверглись по разным причинам: одни — по соображениям цензурного порядка, другие — потому, что Пушкин остался неудовлетворенным ими, или потому, что они нарушали развитие действия; в некоторых случаях это имеет характер особого художественного приема.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стр. 322

Эпиграф — из стихотворения поэта П. А. Вяземского «Первый снег».

Строфа II

«Летя в пыли на почтовых...» — В пушкинское время существовало два способа передвижения на дальние расстояния: «на почтовых», то есть на казенных лошадях, и «на долгих», или на «своих», то есть на собственных лошадях.

«Но вреден север для меня...» — здесь и в примечании к этому стиху Пушкин намекает на свою ссылку.

Строфа III

«Отлично благородно...» — старинное выражение казенных служебных аттестатов.

Строфа V

П е д а н т — здесь: человек с принципами и взглядами, расходящимися со взглядами светского общества.

Строфа VI

Ю в е н а л — римский поэт-сатирик.

«Э н е и д а» — эпическая поэма римского поэта Вергилия (I в. до н. э.).

Р о м у л — легендарный основатель Рима.

Строфа VII

Я м б, х о р е й — стихотворные размеры.

Г о м е р, Ф е о к р и т — древнегреческие поэты.

С м и т А д а м — английский экономист XVIII века, считавший, что богатство страны определяется не золотом, каким она располагает, а объемом производства продуктов хозяйства и промышленности.

Строфа VIII

О в и д и й Н а з о н — римский поэт (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), автор поэмы «Искусство любви». Августом был сослан за свои стихи в район устья Дуная, где и умер.

Строфа XII

Ф о б л а с — герой серии романов французского писателя XVIII века Луве де Кувре, легкомысленный аристократ, проводящий жизнь в любовных приключениях.

Строфа XV

Б р е г е т — часы, которые отбивали минуты и показывали числа месяца, фирмы парижского часовщика Брегета.

Строфа XVI

К а в е р и н — гусарский офицер, приятель Пушкина.

В и н о к о м е т ы — славившееся тогда шампанское урожая 1811 г.; на пробках, которыми оно закупоривалось, было изображение кометы, появившейся в этом году.

Т р ю ф л и — грибы, растущие под землей, призоимые из-за границы; деликатес.

С т р а с б у р г с к и й п и р о г — паштет из гусиной печени. «Нетленным» он назван потому, что его привозили в консервированном виде из Страсбурга.

Л и м б у р г с к и й с ы р — мягкий острый сыр, приготовлявшийся в провинции Лимбург (Бельгия).

Строфа XVII

Федра — героиня одноименной трагедии Расина, французского драматурга XVII века.

Клеопатра — здесь: героиня какой-то переводной пьесы.

Мойна — героиня трагедии «Фингал» русского драматурга начала XIX века Озерова.

Строфа XVIII

Фонвизин — автор комедии «Недоросль».

«Там наш Катенин воскресил...» — На петербургской сцене была поставлена в 1822 году трагедия Корнеля «Сид» в переводе П. А. Катенина.

Переимчивый Княжнин. — **Я. Б. Княжнин** (1742—1791) — поэт и драматург XVIII века, автор многочисленных трагедий и комедий, в большинстве своем переделок с французского.

Е. С. Семенова (1786—1849) — знаменитая трагическая актриса, дочь крепостной. Играла в трагедиях Озерова. Пушкин дал ей восторженную характеристику в статье «Мои замечания о русском театре» (1820).

Шаровской — драматург и театральный деятель XVIII века.

Дидло — петербургский балетмейстер.

Строфа XX

Ряк — верхний ярус в театральном зале, галерка.

Истомина — знаменитая балерина.

Строфа XXIII

Щепетильный — в языке XVIII — начала XIX века это слово соответствовало нынешнему «галантерейный» (щепетильные товары — галантерейные товары).

Строфа XXIV

Руссо Жан-Жак — французский философ, политический писатель и романист XVIII века; проповедник свободы и демократии (народного государства).

Гримм М. (Гримм) — барон, писатель XVIII века, пользовавшийся покровительством разных европейских монархов.

Строфа XXV

«Второй Чадаев...» — **Чаадаев Петр Яковлевич** (1794—1856) — философ-публицист. По воспоминаниям современника, «искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения».

Педант — пунктуальный человек. Здесь: человек, отличающийся чрезвычайной тщательностью в одежде.

У б о р н а я — комната, в которой одевались, причесывались и т. д.

Строфа XXVI

А к а д е м и ч е с к и й с л о в а р ь — «Словарь Академии российской», Спб. 1806—1822, в котором отсутствовали иностранные слова.

Строфа XXVII

Я м с к а я к а р е т а — почтовая карета. (Я м — почтовая станция, где проезжающие меняли лошадей.)

П л о ш к и — плоские банки, наполненные маслом, в котором горел фитиль.

Строфа XXXII

Л а н и т ы — щеки.

Строфа XXXIII

А р м и д а — героиня поэмы «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта XVI века Торквато Тассо, волшебница, соблазнительница.

П е р с и — грудь.

Строфа XXXV

О х т е н к а; О х т а — петербургская окраина, жительницы которой занимались продажей молока вразнос.

В а с и с д а с. — В старину так называлась форточка (от немецкого «Was ist das?» — «Что это такое?»).

Строфа XXXVIII

Б о с т о н — карточная игра.

Строфа XLII

С э й (Сэ) — французский экономист конца XVIII — начала XIX века.

Б е н т а м — юрист, английский писатель-правовед конца XVIII — начала XIX века. Оба были популярны среди декабристов.

Строфа XLVII

К о л о д н и к — арестант, узник.

Строфа XLVIII

М и л ь о н н а я — улица в Петербурге (ныне улица Халтурина), параллельная Неве.

«Напев Торкватовых октав!» — Пушкин имеет в виду итальянского поэта Торквато Тассо. Поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» написана октавами, то есть восьмистишиями. Венецнанские лодочники — гондольеры — распевали октавы Тассо.

Строфа XLIX

Б р е н т а — река, впадающая в Адриатическое море. Близ ее устья расположена Венеция.

В н у к и А п о л л о н а — поэты.

Г о р д а я Л и р а А л ь б и о н а — поэзия Байрона (А л ь б и о н — древнее название Англии), описавшего Венецию в «Странствованиях Чайльда-Гарольда» (IV песня).

П е т р а р к а — итальянский поэт XIV века, воспевавший свою возлюбленную Лауру. Пушкин упоминает Петрарку также в строфе VIII первой главы.

Строфа L

В е т р и л а — паруса.

Р и з а — одежда.

Строфа LVII

Д е в а г о р — черкешенка из поэмы «Кавказский пленник».

П л е н н и ц ы б е р е г о в С а л г и р а — Мария и Зарема из поэмы «Бахчисарайский фонтан» (С а л г и р — река в Крыму).

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стр. 343

Эпиграф взят Пушкиным из сатиры римского поэта Горация (65—8 гг. до н. э.).

Строфа II

Ш т о ф н ы е о б о и — обои из шелковой материи.

Строфа IV

Я р е м — здесь: ярмо, тяжесть, гнет.

Строфа V

Ф а р м а з о н — франкмасон, вольнодумец.

Строфа VI

«С душою прямо геттингенской...» — Г е т т и н г е н — город в Германии, славившийся своим университетом, в котором получили высшее образование многие из выдающихся современников Пушкина.

К а н т — немецкий философ-идеалист.

Строфа XVI

С е в е р н ы е п о э м ы — русские поэмы.

Строфа XXII

Ц е в н и ц а — свирель.

Строфа XXIX

Р и ч а р д с о н — английский писатель XVIII века, автор нравоучительных романов «Грандисон» и «Кларисса Гарлоу».

Р у с с о Ж а н - Ж а к — французский философ и писатель XVIII века, автор сентиментального романа «Юлия, или Новая Элоиза».

Строфа XXXII

«Вела расходы, брила лбы...» — Б р и л а л б ы — отдавала своих крепостных в солдаты. При сдаче в солдаты рекрутам выбривали волосы над лбом, не годным — на затылке.

Строфа XXXIII

Ш л а ф о р — шлафрок, ночной халат.

Строфа XXXV

П о д б л ю д н ы п е с н и — народные обрядовые песни, исполнявшиеся на святках при гаданиях. Девушки, гадая, опускали кольца в блюдо с водой и вынимали их под эти песни.

П у ч о к з а р и; з а р я — полевая трава, которой, по народному обычаю, обметали могилы родителей, «чтобы прочистить им глаза».

Строфа XXXVI

«Приял новый венец...» (иронически употребленное церковное выражение) — умер.

Строфа XXXVII

«Своим пенатам возвращенный...» — вернувшийся домой.

О ч а к о в с к а я м е д а л ь — медаль за участие во взятии турецкой крепости Очаков.

Строфа XXXIX

В е ж д ы (церк.-слав.) — веки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стр. 359

Эпиграф взят Пушкиным из поэмы «Нарцис на острове Венеры» французского поэта XVIII века Мальфилатра.

Строфа II

Э к л о г а — стихотворение, воспевающее прелести простой сельской жизни.

Ф и л л и д а — традиционное имя для героини идиллических сентиментальных стихотворений.

Строфа V

С в е т л а н а — героиня одноименной баллады Жуковского.

«В Вандиковой Мадоне». — Вероятно, имеется в виду картина выдающегося фламандского художника Ван-Дейка (Ван-Дика) XVII в. «Мадона с куропатками», находившаяся в Эрмитаже.

Строфа VII

А л к а т ь — сильно желать.

Строфа IX

В е р т е р — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера».

Строфа X

Г е р о и н а (вместо «героиня») — литературное произношение того времени.

К л а р и с с а, Ю л и я, Д е л ь ф и н а — героини романов Ричардсона, Руссо и романа «Дельфина» французской писательницы г-жи де Сталь.

Строфа XII

«Британской музы небылицы...» — Пушкин имеет в виду произведения английских писателей.

О т р о к о в и ц а — девочка.

В е ч н ы й ж и д — герой старинной легенды, еврей Агасфер, оскорбивший Христа и осужденный вечно скитаться на земле.

К о р с а р — герой одноименной поэмы Байрона, морской разбойник.

Строфа XVIII

«Мне с плачем косу расплели...» — По старинному обычаю, девушке перед венчанием заплетали волосы в две косы.

Строфа XIX

С м о л ь б о й — с молитвой.

Строфа XXVII

«Б л а г о н а м е р е н н ы й» — журнал, издававшийся в 1818—1826 гг. А. Е. Измайловым (1779—1831). О нем писал А. Ф. Воейков в своем «Доме сумасшедших» (1814):

«Вот Измайлов — автор басен,
Рассуждений, эпиграмм,
Он пищит мне: «Я согласен,
Я писатель не для дам!
Мой предмет: носы с прыщами,
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями...
Мир квартальных — вот мой мир».

Строфа XXIX

Г а л л и ц и з м — оборот речи, составленный по образцу французского языка.

«Как Богдановича стихи». — Имеется в виду поэма И. Ф. Богдановича (1743—1803) «Душенька», в основе которой — древнегреческий миф о любви Амура и Психеи.

П а р н и — французский поэт конца XVIII — начала XIX века, автор любовных стихотворений.

Строфа XXX

«Певец пиров и грусти томной...» — Е. А. Баратынский, один из выдающихся поэтов пушкинского времени, автор поэм «Пир», «Бал», «Эда». В это время Баратынский служил солдатом в Финляндии.

Строфа XXXI

«Ф р е й ш и ц» (точнее: Фрейшютц) — опера композитора Вебера «Вольный стрелок» (1821).

Строфа XXXII

О б л а т к а — маленький кружок из бумаги, смазанный сухим клеем; употреблялся в старину для запечатывания писем.

Строфа XXXVIII

К у р т и н ы — цветочные клумбы.

К у с т ы с и р е н — старая форма вместо «кусты сирени».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 377

Эпиграф к этой главе — слова французского государственного деятеля XVIII века Неккера, приводимые в книге его дочери, писательницы де Сталь, «Размышления о французской революции».

Строфа VII

Л о в л а с — герой романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу»; имя его стало нарицательным именем дамского угодника, волокиты.

Красные каблуки и высокие пудренные парики носили франты в XVIII веке.

Строфа X

В и с т — карточная неазартная игра.

Строфа XIII

Б л е с т к и м а д р и г а л ь н ы е — пустые любезности, комплименты.

Строфа XVIII

Н е д о б р о х о т с т в о — недоброжелательство.

Строфа XIX

Ч е р д а к — квартира драматурга Шаховского, в которой собирались писатели, артисты.

«Клевета... враля...» — глупая, оскорбительная для Пушкина сплетня, пущенная в ход гр. Ф. Толстым, прозванным «Американцем».

Э п и г р а м м а п л о щ а д н а я — грубая острота, насмешка.

Строфа XXVI

Ш а т о б р и а н — французский писатель конца XVIII — начала XIX века.

Строфа XXVIII

«Стихи без меры...» — без соблюдения стихотворного размера.

Строфа XXIX

П и и т — поэт.

Строфа XXX

Т о л с т о й Ф е д о р П е т р о в и ч — современный Пушкину гравёр, медальер, художник.

Строфа XXXI

Э л е г и я — лирическое стихотворение, проникнутое грустным настроением.

Я з ы к о в Н и к о л а й М и х а й л о в и ч — поэт.

Строфа XXXII

К р и т и к с т р о г и й — В. К. Кюхельбекер, призывавший в одной из своих статей вместо элегий писать оды — лирические стихотворения торжественного характера.

«...И, верно, нам укажешь трубу, личину и кинжал!..» — Труба, личина (маска) и кинжал в классическом искусстве были символом Мельпомены, музы трагедии.

Строфа XXXIII

«Чужого толка» хитрый лирик...» — Имеется в виду бездарный сочинитель од из сатиры Дмитриева «Чужой толк».

Строфы XXXVI. XXXVII

А н а х о р е т — отшельник, человек, живущий в уединении.

«Певцу Гюльнары подражая, сей Геллеспонт переплывал...» — Г ю л ь н а р а — героиня поэмы Байрона «Корсар». Байрон, отличный пловец, однажды переплыл Геллеспонт (Дарданелльский пролив).

Строфа XLIII

П р а д т — придворный священник Наполеона I, выступавший также в качестве публициста.

Строфа XLV

«В д о в а К л и к ó», «М о é т», «А й» — лучшие сорта шампанских вин. Л е п т — лепта, мелкая греческая монета; подаяние.

Строфа XLVI

Б о р д о — легкое красное французское вино.

Строфа XLVII

«Пора меж волка и собаки...» — перевод французского выражения «entre chien et loup» (сумерки).

ГЛАВА ПЯТАЯ

Стр. 394

Эпиграф взят Пушкиным из поэмы В. А. Жуковского «Светлана».

Строфа X

Л е л ь — как считали в то время, бог любви у древних славян.

Строфа XXII

С е н е к а (I в. н. э.) — римский философ и писатель, проповедовавший твердость и мужество в житейских испытаниях.

Х а л д е й с к и й м у д р е ц — в средние века так называли гадальщика и предсказателя (по имени древнего восточного государства Халдеи (иначе Вавилон), жрецы которого славились умением гадать по звездам).

Строфа XXIII

«М а л ь в и н а» — роман французской писательницы XVIII века Коттэн.

«П е т р и а д а» — обобщенное название эпических поэм о Петре I, принадлежавших различным авторам конца XVIII — начала XIX века.

М а р м о н т е л ь — французский писатель XVIII века, автор растянутых и скучных «Нравописательных рассказов».

Строфа XXVI

Б у я н о в — герой шутилой поэмы В. Л. Пушкина, дяди поэта, «Опасный сосед».

Строфа XXXII

Б л а н м а н ж е — желе из сливок или миндального молока.

Ц и м л я н с к о е — сорт вина.

Ф и а л — кубок, бокал.

Строфа XXXV

Б о с т о н и л о м б е р — карточные игры.

Строфа XXXVI

Р о б е р т, или р о б б е р, — партия в карточной игре. При начале нового роббера игроки меняются местами.

О м и р — Гомер. В «Одиссее» Гомера много раз описываются пиры.

Строфа XL

А л ь б а н. — А л ь б а н и Ф. — итальянский художник XVII века, ценился за изящество и тщательную отделку своих картин.

Строфы XLIII. XLIV

К о т и л ь о н — танец, которым заканчивался бал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Стр. 410

Эпиграф взят Пушкиным из стихотворения итальянского поэта Петrarки.

Строфа V

Р е г у л — римский полководец, мужественно державшийся в плену у врагов.

Строфа VI

П о с т а в и т ь н а б а р ь е р — довести до поединка, до дуэли.

Строфа VII

Г о р а ц и й (I в. до н. э.) — римский поэт; под старость удалился от городской жизни: проводил время главным образом в своем имении.

Строфа XII

В е л е р е ч и в ы й — здесь: многоречивый.

Строфы XV. XVI. XVII

Д в у х у т р е н н и й — проживший всего два дня, два утра.

Строфа XX

Д е л ь в и г А н т о н А н т о н о в и ч (1798—1881) — поэт, лицейский товарищ Пушкина.

Строфа XXII

Д е н н и ц а — утренняя заря.

Строфа XXIV

В е с п е р — звезда Венера, которая дольше всех светится на утреннем небе.

Строфа XLI

Ф л ё р — прозрачная ткань, вуаль.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Стр. 427

Эпиграфы взяты из стихотворения Дмитриева «Освобожденная Москва», из поэмы Баратынского «Пир» и из комедии Грибоедова «Горе от ума».

Строфа IV

Э п и к у р е е ц — от имени древнегреческого философа Эпикура, учившего, что человек должен руководствоваться в своих поступках стремлением к счастью.

П р и а м — троянский царь, один из героев поэмы Гомера «Илиада», отец многочисленного семейства.

Строфа V

В ы п и с н а я — выписанная из-за границы.

Строфа XIII

Н а п е р с н и к — друг.

Строфа XVII

К а н а п е — диван.

М а н е ж н ы й х л ы с т и к — хлыстик для верховой езды.

Строфа XIX

«И столбик с куклою чугунной...» — Имеется в виду статуэтка, изображающая Наполеона.

Строфа XX

П и л и г р и м — странник, путешественник.

Строфа XXII

«Певца Гяура и Жуана...» — Речь идет о Байроне, которому принадлежат поэмы «Гяур» и «Дон-Жуан».

Строфа XXXII

Ф о р е й т о р — кучер, который при запряжке цугом, то есть в несколько пар, сидел верхом на одной из передних лошадей.

Строфа XXXIII

«...По расчисленью философических таблиц...» — Имеется в виду труд французского математика и экономиста XIX века Ш. Дюпена, в котором приводятся статистические таблицы экономики различных европейских стран.

Строфа XXXV

П р о г о н ы — плата за проезд на почтовых (казеинных) лошадях.

Строфы XXXIX. XL

«У Харитонья в переулке...» — близ церкви св. Харитония, у Чистых прудов.

Строфа XLI

У С и м е о н а — вблизи церкви св. Симеона.

Строфа XLIX

«Архивны юноши толпою...» — Архивными юношами Пушкин называет молодых людей из московского дворянского общества, служивших в архиве министерства иностранных дел; они считались умственным «цветом» столицы.

В я з е м с к и й П. А. — поэт и критик, близкий друг Пушкина.

Строфа L

Т р у б к и — зрительные трубки, род театрального бинокля.

Строфа LI

С о б р а н и е — Московское Благородное собрание, где устраивались балы.

Строфа LV

«Пою приятеля молодого...» — Пушкин высмеивает «правила» классицизма XVII—XVIII вв., согласно которым эпические поэмы должны были начинаться словом «пою» и указанием предмета воспевания.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Стр. 447

Эпиграф взят Пушкиным из начала стихотворения Байрона «Прости» (1816), написанного в связи с разводом с женой.

Строфа I

А п у л е й (II—I вв. до н. э.) — древнеримский писатель, автор романа «Золотой осел».

Ц и ц е р о н М а р к Т у л л и й (I в. до н. э.) — римский государственный деятель, писатель и оратор.

Строфа IV

Л е н о р а — героиня одноименной баллады немецкого поэта XVIII века Бюргера. В балладе Ленора скачет на коне с мертвым женихом.

Т а в р и д а — древнее название Крыма.

Строфа V

Речью богов назывался в классической литературе язык поэзии.

Строфа VII

О л и г а р х и ч е с к и е б е с е д ы — беседы, которые ведутся лишь избранным кругом гостей.

Строфа VIII

К о с м о п о л и т — человек, для которого не существует отечества, родины; упрек в адрес придворно-светских кругов.

К в а к е р — член английской религиозной секты, не признававшей официальной государственной религии, церкви, священников. При Александре I некоторые представители петербургского общества увлечены были учением квакеров.

Строфа XII

«Иль даже Демоном моим...» — «Демон» — стихотворение Пушкина, написанное им в 1823 году.

Строфа XIII

Ч а ц к и й — герой комедии Грибоедова «Горе от ума».

Строфа XIV

Ш и ш к о в — писатель, боровшийся против употребления иностранных слов в русском языке.

Строфа XVI

К л е о п а т р а (I в. до н. э.) — египетская царица, славившаяся своей красотой.

Строфа XXV

В е н з е л ь — здесь: нагрудный знак фрейлин (придворных дам).

Строфа XXX

П е н и — упреки.

Б о а — длинный, узкий шарф из пушистого меха или перьев.

«...или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей...» — то есть толпу лакеев.

Строфа XXXV

Г и б б о н — английский историк XVIII века.

М а н з о н и — Манцони, итальянский писатель XIX века.

Г е р д е р — немецкий поэт и ученый XVIII века.

Ш а м ф о р — французский писатель XVIII века.

Б и ш а — французский медик XVIII века, автор многих сочинений по анатомии и физиологии.

Т и с с о — французский медик XVIII века, написавший ряд популярных тогда работ по медицине.

Б е л ь — французский философ XVII века, учивший, что сомнение является залогом установления истины.

Ф о н т е н е л ь — французский писатель и философ конца XVII—первой половины XVIII века.

Строфа XXXVII

Ф а р а о н — азартная карточная игра.

Строфа XXXVIII

М а г н е т и з м — здесь: гипноз, внушение.

Строфа XXXIX

К а м е л е к — камин.

Строфа L

С п у т н и к с т р а н н ы й — Онегин.

В е р н ы й и д е а л — Татьяна.

М а г и ч е с к и й к р и с т а л л — небольшой стеклянный шар, употреблявшийся при гадании.

Сади — Саади (1184—1291), персидский поэт.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ»

Стр. 469

(3) Симон Боливар — предводитель национально-освободительного движения в южноамериканских колониях Испании в начале XIX века.

(7) Буало — французский поэт XVII — начала XVIII века.

(8) Гнедич Николай Иванович — поэт, современник Пушкина. Филомела — соловей.

(9) Пит (церк.-слав.) — поэт.

(11). Регент — герцог Орлеанский, правивший Францией в начале XVIII века за малолетством короля Людовика XV.

Бйрон и Миних — государственные деятели эпохи царствования императрицы Анны.

И. А. Аннибал — Иван Абрамович Ганнибал, крупный военный деятель царствования Екатерины II.

(12) «Днепровская русалка» — фантастическая опера, очень популярная в начале XIX века.

(17) Анахронизм — ошибочное отнесение событий одного времени к другому.

(20) Строки из знаменитой поэмы итальянского поэта Данте «Божественная комедия»; слова, написанные на воротах ада.

(25) «В лета красные мои...» — Пушкин приводит здесь отрывок из своего «Послания к Л. П.», то есть к брату, Льву Сергеевичу Пушкину.

(31) В этом примечании Пушкин ссылается на сборник народной русской поэзии «Древние русские стихотворения», составленный в XVIII веке Киршей Даниловым.

(33) Федоров Борис Михайлович — писатель пушкинского времени.

(38) Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума» (монолог Чацкого в IV действии):

«Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют —
И вот общественное мнение!»

(42) В стихотворении поэта П. А. Вяземского «Станция» стих «для проходящих!» взят из басни И. И. Дмитриева «Прохожий».

Мак-Адам — макадам, шоссе из битого щебня, называвшееся так по имени английского инженера. Вяземский шутя называет русскую зиму Мак-Адамом или Мак-Евой.

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА

Стр. 475

Макарьев — название ярмарки, которая до 1817 года устраивалась в городе Макарьеве, а с 1817 года была перенесена в Нижний Новгород.

Заводчик — здесь: владелец конного завода.

Меркантильный — торгашеский; меркантильный дух — дух наживы.

Арагва и Кура — реки в Закавказье.

Бешту (правильнее: Бештау) и Машук — горы на Кавказе.

Почечуй — то же что геморрой.

Дымные струи — горячие, дымящиеся источники.

«Да щей горшок, да сам большой». — Цитата из сатиры Кантемира, ставшая пословицей. Смысл пословицы: сыт и ни от кого не зависим (сам большой — сам себе хозяин).

Фламандская школа — школа фламандских живописцев XVI—XVII веков, изображавших сцены городской и сельской жизни со всеми бытовыми подробностями.

Морали (Мавр Али) — одесский приятель Пушкина; египетский турок, моряк и бывший морской разбойник.

Туманский В. И. (1800—1860) — поэт, описавший Одессу в стихотворении, названном ее именем.

Маркёр — служитель при бильярде.

Россини — итальянский композитор XIX века.

Негоциантка — жена богатого купца. Имеется в виду Амалия Ризнич.

Каватина — небольшая оперная ария нежного и мелодичного характера.

Фора — возглас, обозначающий одобрение игры актера (то же, что «браво», «бис»).

Сыны Авзонии — итальянцы. Авзония — древнее название Италии.

Речитатив — в вокальном номере место, похожее на декламацию, приближающееся к обычной речи.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Стр. 483

Строфа I

«Властитель слабый и лукавый...» — Речь идет об Александре I.

Двуглавый орел — герб императорской России.

Строфы II—IV

Пушкин говорит о поражениях, нанесенных русским войскам Наполеоном в 1805—1806 годах, об Отечественной войне 1812 года и о заграничных походах русской армии 1813—1814 годов, закончившихся полным разгромом французской армии и низложением Наполеона.

Строфа III

Б а р к л а й — См. прим. к стихотворению «Полководец», стр. 664.

Строфа VI

Ш и б о л е т — древнееврейское слово (значит «колос»); в переносном смысле обозначает какую-либо оскорбленность национального характера. В библии рассказывается, что воюющие иудейские племена распознавали друг друга по тому или иному произношению слова «шиболет». Пушкин в шутку называет слово «авось» русским «шиболетом».

«Но стихоплет великородный...» — Имеется в виду И. М. Долгорукий, поэт XVIII века, автор шуточного стихотворения «Авось».

А л ь б и о н (поэтич.) — Англия.

Строфа VII

«Авось, аренды забывая, ханжа запрется в монастырь...» — Речь идет о религиозном мракобесии, распространившемся при дворе Александра I и в аристократических кругах в 1815—1825 годах.

«Авось, по манью Николая, семействам возвратит Сибирь...» — Пушкин говорит здесь о сосланных на каторгу декабристах.

Строфа VIII

«Сей муж судьбы, сей странник бранный...» — Речь идет о Наполеоне I.

Строфа IX

«Тряслися грозно Пиренеи...» — Здесь говорится о некоторых событиях, связанных с национально-освободительной борьбой народов Европы в тот период: революционном движении в Испании и Неаполитанском королевстве и греческом восстании против турецкого ига в 1821 году, руководимом А. Ипсиланти.

Строфа X

«Наш царь в конгрессе говорил...» — речи Александра I на конгрессах «Священного союза».

Строфа XI

«Потешный полк Петра Титана...» — Семеновский гвардейский полк, сформированный Петром I. В ночь убийства Павла I семеновцы несли караул у дворца и пропустили в него заговорщиков.

В 1820 году в связи с невероятно тяжелыми условиями казарменной жизни и зверствами командиров в Семеновском полку вспыхнуло восстание, жестоко подавленное. Об этом, очевидно, шла речь в утраченных строках данной строфы.

Строфы XII—XVII

Здесь рассказывается о зарождении и развитии декабристского движения.

В и т и й с т в о — красноречие.

Б е с п о к о й н ы й Н и к и т а — Никита Михайлович Муравьев, декабрист, один из руководителей Северного тайного общества.

О с т о р о ж н ы й И л ь я — И. А. Долгоруков, который одно время был близок к тайным обществам декабристов, но отошел от них задолго до восстания 14 декабря 1825 года.

Л у н и н М. С. — декабрист, одним из первых настаивал на необходимости убийства Александра I. Умер в 1845 году в каторжной тюрьме в Сибири.

Н о э л ь — французская рождественская песня сатирического содержания.

Я к у ш к и н И. Д. — декабрист, вызвался лично убить царя. Был сослан на каторгу в Сибирь.

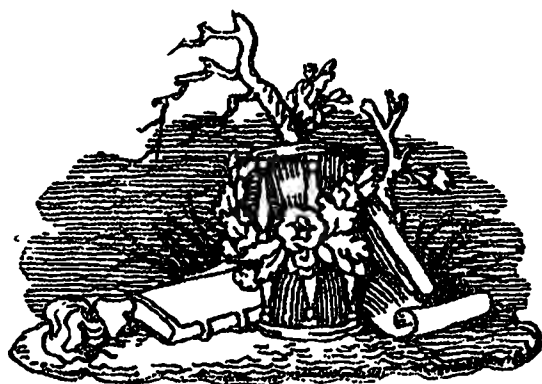
Х р о м о й Т у р г е н е в — Н. И. Тургенев, декабрист, страстный поборник уничтожения крепостного права. Был заочно приговорен к смертной казни.

Т у л ь ч и н — город на Украине, один из центров декабристского движения.

В и т г е н ш т е й н — генерал русской армии, участник Отечественной войны 1812 года. Позднее в частях, находившихся под его командованием, была создана одна из крупнейших декабристских организаций — Южное тайное общество.

Х о л о д н о к р о в н ы й г е н е р а л — декабрист А. П. Юшневский.

М у р а в ь е в — декабрист С. М. Муравьев-Апостол, поднявший в конце 1825 года восстание в Черниговском полку. Был в числе повешенных.



ПРОЗА

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Стр. 489

«Повести Белкина» написаны в 1830 году в Болдине. «Гробовщик» закончен 9 сентября; «Станционный смотритель» — 14 сентября; «Барышня-крестьянка» — 20 сентября; «Выстрел» — 14 октября; «Метель» — 20 октября. Вышли в свет в 1831 году отдельной книжкой под заглавием: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.».

Эпиграф к «Повестям Белкина» взят Пушкиным из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

ВЫСТРЕЛ

Стр. 492

Первый эпиграф взят Пушкиным из поэмы «Бал» поэта Е. А. Баратынского, второй — из рассказа «Вечер на бивуаке» — писателя-декабриста А. А. Бестужева (Марлинского).

Загнуть угол.— У карты, которая ставится против банкмета, загибался угол; загнуть лишний угол — увеличить ставку.

Шандал — подсвечник.

Ваканция — вакансия, свободная служебная должность.

Ипсиланти Александр — один из руководителей тайного греческого общества этеристов (гетеристов), боровшихся за освобождение Греции от турецкого владычества. Скуляны — местечко в Молдавии близ реки Прута. 29 июня 1821 года небольшой отряд повстанцев героически сражался здесь против пятнадцатитысячной турецкой армии и был уничтожен.

МЕТЕЛЬ

Стр. 502

Эпиграф взят Пушкиным из баллады В. А. Жуковского «Светлана». Эта баллада, полная всяких чудес, заканчивается благополучно — приездом жениха.

Б о с т о н — карточная игра.

Ш л а ф о р к (шлафрок) — халат.

А р т е м и з а (IV в. до н. э.) — карийская царица Артемизия; прославилась верностью своему умершему мужу Мавзолу.

«Ж о к о н д» — опера французского композитора Никола Изуара, поставленная впервые в 1814 году в занятом русскими войсками Париже.

«И в воздух чепчики бросали...» — стих из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Г е о р г и й — орден, который давали за храбрость.

ГРОБОВЩИК

Стр. 512

Эпиграф взят Пушкиным из оды Державина «Водопад». Образ гробовщика, по-видимому, нарисован Пушкиным с натуры. В Москве, на Большой Никитской (ныне улица Герцена), напротив дома Гончаровых, где жила в эту пору невеста Пушкина, действительно существовала лавка гробовщика Адрияна.

«...Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми...» — Пушкин имеет в виду могильщиков из трагедии Шекспира «Гамлет» и из романа Вальтера Скотта «Лемермурская невеста».

Б р и г а д и р — в старину военный чин между полковником и генералом.

Ф р а н м а с о н с к и й — франкмасонский. Ф р а н к м а с о н ы — члены тайной религиозно-политической организации, получившей особенно широкое распространение в XVIII веке. Их символами являлись фартук каменщика и молот. Удары молота служили условным знаком. Три удара в дверь гробовщика Пушкин называет «франмасонскими» в шутку.

П о ч т а л ь о н П о г о р е л ь с к о г о — герой рассказа Антона Погорельского (псевдоним А. А. Перовского) «Лафертовская маковница».

Д о р и ч е с к и й о р д е н — стиль в древнегреческой архитектуре, отличавшийся простотой и строгостью линий.

Г а е р с в я т о ч н ы й — балаганный шут, потешавший публику на святках, то есть во время рождественских праздников.

Ч а с т н ы й — то есть частный пристав, полицейский чин.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Стр. 517

Эпиграф взят Пушкиным из стихотворения «Станция» П. А. Вяземского.

«...муромским разбойникам...» — В ту пору многие крепостные крестьяне от притеснений помещиков уходили в разбойничьи шайки. Они скрывались часто в Муромском лесу на реке Оке.

Ф е л ь д ь е г е р ь — военный курьер, доставлявший особо срочную почту.

Д е м у т о в т р а к т и р — гостиница в Петербурге, где постоянно останавливался Пушкин.

«...как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева...» — старый слуга в балладе И. И. Дмитриева (1760—1837) «Карикатура».

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Стр. 526

Эпиграф взят Пушкиным из шутливой поэмы «Душенька» поэта XVIII века И. Ф. Богдановича.

«...вышел в отставку в начале 1797 года...» — то есть в начале царствования Павла I, самодурство которого заставило многих дворян выйти в отставку.

О т ь е з ж е е п о л е — далеко расположенное от усадьбы поле, где производилась псовая охота.

«С е н а т с к и е в е д о м о с т и» — правительственная газета, в которой печатались законы и распоряжения.

«Но на чужой манер хлеб русский не родится...» — стих из сатиры князя Шаховского.

О п е к у н с к и й С о в е т — учреждение, ведавшее воспитательными домами и выдававшее в то же время ссуды под залог имений и крепостных.

З о и л — злой критик.

С т о л о н а ч а л ь н и к — заведующий «столом», небольшим отделом в учреждении.

Ж а н - П о л ь — псевдоним Рихтера, немецкого писателя конца XVIII—начала XIX века.

«П а м е л а» («Памела, или Вознагражденная добродетель») — роман английского писателя XVIII века Ричардсона.

С б о г а р — имя героя, благородного разбойника из романа французского писателя Ш. Нодье «Жан Сбогар».

Л а н к а с т е р с к а я с и с т е м а — распространенная в начале XIX века система взаимного обучения, при которой сильные ученики обучают слабых; введена английским педагогом Ланкастером.

«Наталья, боярская дочь» — повесть Карамзина.

«...того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь...» — Тарас Скотинин, помещик-крепостник из комедии Фонвизина «Недоросль», говорит о себе: «У меня такой обычай: как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотишь».

ПИКОВАЯ ДАМА

Стр. 541

Повесть «Пиковая дама» написана в октябре — ноябре 1833 года в Болдине; опубликована в журнале «Библиотека для чтения» (1834, т. II, кн. 3). По словам П. В. Нащокина, Пушкин, прочитав ему свою повесть, рассказывал, что главная завязка повести не вымышлена. Старуха графиня — это княгиня Наталья Петровна Голицына, действительно жившая в Париже так, как описывает Пушкин. Внук ее рассказал Пушкину, что раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а назвала три карты. «Попробуй», — сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался.

Современники сразу разгадали прототип графини. 7 апреля 1834 года Пушкин записал в своем дневнике: «Моя Пиковая дама в большой моде. — Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся...»

I

И г р а т ь м и р а н д о л е м — не повышая ставки (м и р а н д о л ь — условие в азартной карточной игре, когда игроки не увеличивают первоначальной ставки).

П о с т а в и т ь н а р у т е — поставить так, чтобы были биты подряд несколько карт.

П а р о л и — ставка вдвое больше предыдущей; п а р о л и п е — ставка вчетверо больше первоначальной.

П о н т и р о в а т ь — играть против банкомета (ведущий игру).

Р и ш е л ь е — маршал Франции, выдвинувшийся при герцоге Орлеанском и Людовике XV.

Ф а р а о н — азартная карточная игра.

Г р а ф С е н Ж е р м е н — французский авантюрист XVIII века.

К а з а н о в а — итальянский авантюрист XVIII века.

С о н и к а — выигрыш или проигрыш сразу, с первой ставки.

П о р о ш к о в ы е к а р т ы — карты, которые употреблялись шулерами, наносившими на карту легко стирающимся порошком лишнее очко.

К а б а л и с т и к а — средневековые магические «науки» и связанные с ними обряды.

Зорич С. Г. — один из многочисленных фаворитов Екатерины II.

II

«Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца...» — несколько измененная цитата из 3-й части («Рай») «Божественной комедии» Данте.

Вошла в капоте. — Капотом называлось тогда пальто особого покроя.

III

Ванька — извозчик.

Штофный — из штофа, тяжелой шерстяной или шелковой ткани.

Госпожа Лебрен — Виже Лебрен, французская художница-портретистка.

Леруа — модный парижский часовщик.

Монгольфьеров шар — так назывался воздушный шар, на котором поднялись братья Монгольфье в 1783 году.

Месмеров магнетизм; Месмер — немецкий врач конца XVIII века, утверждавший, что в животном организме существует особая «магическая» жидкость, от которой зависит здоровье человека.

Вольтеровы кресла — мягкие, глубокие кресла с подъемными столиками у ручек.

IV

«Три дамы с вопросами». — Во время кадрили кавалер должен был выбрать даму из участниц танца, называвших себя условными словами.

V

Шведнеборг, или Сведенборг, — шведский писатель-мистик XVIII века.

Барская барыня — ключница или экономка из крепостных крестьянок.

VI

Атáнде (франц. attendez — подождите) — в карточной игре предложение не делать ставки.

Грандифлор — крупноцветное растение.

Тайный советник — один из самых высоких гражданских чинов.

Вист — коммерческая (неазартная) карточная игра.

Талья — круг игры до окончания колоды карт у банкмета или до срыва банка.

Семпель — в некоторых карточных играх простая ставка на карту.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Стр. 563

В 30-е годы Пушкина глубоко занимала проблема крестьянских восстаний. Рамки работы над романом «Дубровский» не давали возможности поставить ее во всей широте. Это было сделано Пушкиным в «Капитанской дочке» и в его историческом труде «История Пугачева». Первый план «Капитанской дочки» Пушкин набросал 31 января 1833 года.

В конце февраля 1833 года Пушкин получил доступ к ряду архивных материалов и принялся за историческое исследование о Пугачеве, набросав к 22 мая первую его редакцию. Параллельно Пушкин обдумывал дальнейшие планы повести. Окончание работы над «Капитанской дочкой» относится к 1836 году; заключительные строки датированы 19 октября.

«Капитанская дочка» была опубликована в «Современнике» (1836, т. IV) с некоторыми цензурными пропусками. Впрочем, при разработке столь острой социальной темы Пушкину и самому приходилось работать над романом с постоянной оглядкой на цензуру. Замечательно, что, несмотря на это, ему удалось создать весьма привлекательный образ Пугачева и подчеркнуть сочувствие к нему Гринева. Возможно, учитывая именно цензурные условия, Пушкин при окончательной переработке романа опустил главу, в которой рассказывается о бунте крестьян в деревне отца героя и присоединении их к Пугачеву. Ввиду безнадежности опубликования этой главы Пушкин даже не стал ее перерабатывать (Гринев называется в ней Буланиным, а Зурин — Гриневым) и сам назвал в рукописи «Пропущенной главой».

ГЛАВА I. СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

Стр. 563

Эпиграф взят Пушкиным из комедии «Хвастун» поэта и драматурга Я. Б. Княжнина.

«Служил при графе Минихе...» — Фельдмаршал Миних после дворцового переворота 1741 года, давшего власть Елизавете Петровне, был сослан в Сибирь; отставка Гринева-отца была связана с падением Миниха.

Премьер-майор — офицерский чин XVIII века, соответствовавший подполковнику.

«...батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта...» — Со времени Петра I дворяне для получения офицерского чина должны были сначала служить рядовыми в гвардейских полках. В обход этого закона дворяне зачисляли своих сыновей на военную службу с самого раннего детства, чтобы к моменту совершеннолетия они получили офицерский чин.

Ментор — наставник.

Придворный календарь — ежегодное издание, где помещался список придворных и лиц, близких ко двору.

«Обоих российских орденов кавалер...» — то есть награжденный высшими орденами царской России: Андрея Первозванного и Александра Невского.

Ш а м а т о н — гуляка, шалопай.

«...и денег, и белья, и дел моих рачитель...» — строка из «Послания к слугам моим» Д. И. Фонвизина.

ГЛАВА II. ВОЖАТЫЙ

Стр. 569

Ц е л о в а л ь н и к — кабатчик.

С т а в е ц — поставец, шкаф для посуды.

Ш т о ф — бутылъ емкостью около полутора литров.

Б у н т 1772 года — восстание казачьей массы, во время которого был перебит правительственный отряд. Восстание было усмирено правительством Екатерины II самым жестоким образом.

ГЛАВА III. КРЕПОСТЬ

Стр. 576

Второй эпиграф взят Пушкиным из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

Ф о р т е ц и я — крепость.

Я и к — прежнее название реки Урал, измененное после Пугачевского восстания.

Л у б о ч н ы е к а р т и н к и — дешевые цветные картинки сказочного, исторического или сатирического содержания.

К и с т р и н — Кюстрин, одна из сильнейших крепостей того времени в Пруссии; русские войска осаждали ее в 1758 году.

О ч а к о в — город на Днепре, в прошлом турецкая крепость, взятая русскими войсками в 1737 году. Окончательно отошел к России после русско-турецкой войны 1787—1791 годов.

У р я д н и к — старшее звание солдата в казачьих войсках того времени.

К а п р а л — до Николая I соответствовал позднешему званию отдельного унтер-офицера.

«Инвалиды с длинными косами...» — В XVIII веке солдаты, по западноевропейскому образцу, носили косы.

ГЛАВА IV. ПОЕДИНОК

Стр. 580

Эпиграф взят Пушкиным из комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки».

П о з и т у р а — положение при фехтовании.

Сумароков А. П.— поэт и драматург XVIII века.

Тредиаковский В. К.— поэт, переводчик и ученый XVIII века. Его стихи за неуклюжесть и тяжесть слога были часто предметом насмешек современников.

Сатисфакция — удовлетворение за обиду или оскорбление.

Воинский артикул — свод законов, по которым судили лиц воинского звания.

Эпитимия — церковное покаяние.

ГЛАВА VI. ПУГАЧЕВЩИНА

Стр. 592

Розыск — допрос, сопровождавшийся обычно пыткой.

«Эхе! — сказал комендант, узнав по страшным его приметам одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году». — В 1737—1740 годах в Башкирии вспыхнули крупные народные восстания, вызванные чудовищной эксплуатацией башкирского народа царским правительством. Восстания были подавлены с неслыханной жестокостью. Пушкин писал о башкирах, что во время восстания Пугачева, то есть через тридцать с лишним лет, «казни 1740 года были у них в свежей памяти».

Сикурс — войсковая часть, посланная в качестве подкрепления.

ГЛАВА VII. ПРИСТУП

Стр. 599

Эпиграф — запевка одной из солдатских песен времен Петра I о казни стрелецкого атамана.

«Мы люди... присяжные...» — принесшие присягу на верность.

Сайдак — старинное вооружение конного воина: лук и стрелы.

ГЛАВА VIII. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Стр. 604

Чумаков Федор — яицкий казак, начальник артиллерии в войске Пугачева.

ГЛАВА IX. РАЗЛУКА

Стр. 610

Эпиграф взят Пушкиным из стихотворения «Разлука» поэта, драматурга и романиста XVIII века М. М. Хераскова.

ГЛАВА X. ОСАДА ГОРОДА

Стр. 613

Эпиграф взят Пушкиным из поэмы М. М. Хераскова «Россиада».

Перун — у древних славян бог грома и молнии. Перуны — гром и молния; здесь: пушки.

Глазетовый — из глазета, шелковой материи, затканной золотом или серебром.

Правильное оружие — регулярная армия.

Харлова Елизавета — дочь коменданта Татищевской крепости и жена коменданта Нижне-Озерной крепости. Муж и отец ее были казнены Пугачевым, а сама она была взята им в любовницы и вскоре убита.

ГЛАВА XI. МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

Стр. 619

Эпиграф стилизован под Сумарокова, но сочинен самим Пушкиным.

Белобородов — один из ближайших помощников Пугачева; вышел из среды уральских крепостных рабочих.

Хлопуша — Афанасий Соколов, крепостной крестьянин, один из талантливейших командиров в войске Пугачева.

Юзеева — деревня, под которой Пугачев 9 ноября 1773 года нанес поражение правительственным войскам, посланным на выручку Оренбурга.

Фридерик — прусский король Фридрих II, сын Фридриха I, почему Пугачев и называет его Федором Федоровичем. Пугачев принимал участие в Семилетней войне, в которой русские войска разбили наголову Фридриха II.

ГЛАВА XIII. АРЕСТ

Стр. 632

Эпиграф, как и к главе XI, сочинен самим Пушкиным.

Вахмистр — высший солдатский чин в кавалерии, соответствовавший чину фельдфебеля в пехоте.

Михельсон — один из главных, самых жестоких усмирителей восстания Пугачева.

Следственная комиссия по делу Пугачева была организована в ноябре 1774 года.

ГЛАВА XIV. СУД

Стр. 637

Извет — клеветнический донос, наговор.

Пращур — предок.

Лобное место — на Красной площади в Москве. С него объявлялись важнейшие царские указы, возле него происходили публичные казни.

Волинский — кабинет-министр в правительстве императрицы Анны Ивановны; возглавлял те круги русского дворянства, которые выступали против засилья немцев при дворе. Вместе со своим ближайшим сторонником Хрущевым был казнен в 1740 году.

София — поселок близ Царского Села (ныне г. Пушкин). Позднее он был присоединен к Царскому Селу.

Румянцев-Задунайский — один из крупнейших русских полководцев XVIII века, одержавший ряд блестящих побед во время войны с Турцией (1768—1774).

Робронд (роброн) — парадное женское платье с широким шлейфом.



СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ



А в р о р а — у древних римлян богиня утренней зари.

А в т о м е д о н — возница, управляющий конями Ахиллеса в поэме Гомера «Илиада».

А и д, или **А й д е с**, — подземное царство мертвых, ад или бог царства мертвых.

А м у р, или **К у п и д о н** (у древних греков — **Эрот**), — у древних римлян божество любви, сын Венеры; изображался в виде обнаженного крылатого мальчика с луком и стрелами.

А о н и д ы — см. *Музы*¹.

А п о л л о н, или **Ф е б**, — по верованиям древних греков, сын **Зевса**, бог солнца и света, покровитель наук и искусств; считался идеалом мужской красоты; его храм был в Дельфах — отсюда название дельфийский идол.

А р г у с — стоглавый великан. Греческий миф рассказывает, что Гера, жена **Зевса**, приставила Аргуса сторожить свою соперницу **Ио**, которую она из ревности превратила в телку. По повелению **Зевса** посланник бога **Гермес** усыпил Аргуса игрой на флейте и отрезал ему голову. Тогда Гера вставила все сто его глаз в хвост павлина, любимой своей птицы.

А р т е м и з а (**Артемиды**) — дочь **Зевса**, богиня-дева.

А с т р е я — богиня справедливости, дочь **Зевса**.

А т р и д — значит потомок **Атрея**. Когда греческий царь **Агамемнон**, рассказывает древнегреческая легенда, отправился на войну с **Троей**, богиня **Артемиды** (**Диана**) похитила его дочь **Ифигению**, перенесла в **Тавриду** (**Крым**) и сделала жрицею своего храма. **Тавридою** владели

¹ Курсивом выделены имена и названия, объяснение которых дается в соответствующих местах словаря.

дикие скифы. Всякого грека, случайно попадавшего на берег, они хватали, и Ифигения должна была закалывать их на алтаре в жертву Диане. Через десять лет греки взяли Трою, Агамемнон возвратился в родной город Аргос и там был убит своею женою Клитемнестрой при помощи ее любовника. Сын Орест (Атрид), мстя за смерть отца, убил мать. За страшный грех матереубийства его стали преследовать эвмениды (эринии, фурии), адские богини воздаяния, со змеями вместо волос. Оракул возвестил Оресту, что он избавится от эвменид, если привезет назад в Грецию когда-то похищенную статую Дианы, находящуюся в Тавриде, в храме богини. Орест отправился на подвиг вместе со своим другом Пиладом. Друзья были схвачены и приведены к Ифигении для принесения жертвы богине. Узнав, что пленники из Аргоса, Ифигения обещала одного из них освободить, если он поклянется доставить ее письмо в Аргос. Орест и Пилад стали между собою спорить, кому остаться: каждый хотел освободить другого. Выяснилось, что письмо Ифигения посылает Оресту. Орест открылся. Все трое бежали ночью в Грецию, увезя с собою и статую богини.

Афродита (Киприда, Цитерея) — богиня любви и красоты. По греческим сказаниям, Афродита родилась из морской пены и вышла на берег около города Пафоса (поэтому ее называли Пафосской царицей, богиней) на Кипре. В городе Пафосе в честь Афродиты был воздвигнут храм и совершались торжественные обряды.

Бахус — см. *Вакх*.

Беллона — римская богиня войны.

Вакх — у древних римлян бог вина и веселья, плодородия и виноделия.

Венера (у древних греков — Афродита, Киприда, Цитерея) — у древних римлян богиня любви и красоты.

Геба (Гебея) — дочь *Зевса*, богиня молодости; олицетворение вечной юности. Она разносила богам на *Олимпе* нектар.

Геликон — см. *Парнас*.

Геркулес — сын *Зевса*, герой, олицетворяющий физическую мощь. Геркулес совершил множество подвигов благодаря своей колоссальной силе. Убив Немейского льва, Геркулес постоянно носил его шкуру.

Гермес — в древнегреческих мифах сын *Зевса*, посланник богов, проводник душ умерших в *Аид*, помощник странников и людей, попавших в беду.

Гефест (у древних римлян — Вулкан) — бог огня и кузнечного ремесла. Его кузница была на острове Лемнос, в Греческом архипелаге (отсюда «Лемносский бог»).

Гименей (Гимен) — бог брака. Изображался в виде стройного юноши с крыльями, с факелом и свадебной фатой в руках.

Г р а ц и и — в римской мифологии богини, олицетворявшие женскую красоту. В греческой мифологии они назывались харитами.

Д е л ь ф и й с к и й и д о л — см. *Аполлон*.

Д и а н а — богиня луны и охоты; сестра *Аполлона*. По греческому сказанию, Диана тайно, по ночам посещала своего возлюбленного, красавца пастуха *Эндимиона*, погруженного *Зевсом* в глубокий сон.

Д р и а д ы — см. *Нимфы*.

Е л и з и у м, Е л и з и й — см. *Элизий*.

З е в с (в римской мифологии — *Юпитер*) — по верованиям древних греков, бог неба, повелитель богов.

И к а р — в древнегреческих мифах юноша, пытавшийся перелететь через море на крыльях, прилепленных воском; лучи солнца растопили воск, и Икар упал в море.

И п п о к р е н а — см. *Пегас*.

К а м е н ы — см. *Музы*.

К а с т а л ь с к и й к л ю ч — в древнегреческих мифах ключ на горе *Парнас*, где обитали *музы*.

К е р е р а, или Ц е р е р а, — у древних греков богиня плодородия.

К и п р и д а — см. *Афродита*.

К и ф е р а, или Ц и т е р а, — остров в Греческом архипелаге, где находился храм богини любви и красоты *Афродиты*: место ее культа.

К л и о (Клия) — см. *Музы*.

К л о ф о — одна из трех *парок* — богинь судьбы у древних римлян; *Клофо* ткала нить жизни; *парка* *Антропа* обрывала ее.

К о м — в греческой мифологии бог пиров.

К о ц и т — в древнегреческих мифах река в царстве мертвых *Аиде*.

К р о н — бог времени; его изображали в виде старца с косой.

К у п и д о н — см. *Амур*.

Л а р ы (пенаты) — в римской мифологии боги — покровители домашнего очага.

Л е м н о с с к и й б о г — см. *Гефест*.

Л е т а — река забвения, протекающая в *Аиде*; испив ее воду, души умерших навсегда забывали о земле.

Марс — бог войны.

Мельпомена — муза трагедии. См. *Музы*.

Минерва, или **Афина Паллада**, — по верованиям древних греков, богиня мудрости, могущества, воинственности, покровительница ремесел и искусств. Минерву изображали в воинских доспехах: в каске, с мечом и щитом.

Минервина эгида — щит *Минервы*.

Мнемозина — богиня памяти, мать девяти муз.

Мом — бог насмешки. Его спутник **Ком** — бог веселых пиров.

Морфей — бог сна.

Музы (у древних римлян — камены) — богини искусств, дочери *Зевса* и *Мнемозины*. Их было девять: **Клио** — муза истории, **Евтерпа** — муза лирической поэзии, **Талия** — муза комедии, **Мельпомена** — муза трагедии. Ее изображали в маске, с кинжалом в руке, на котурнах (котурны — сандалии на высокой деревянной подошве. Трагические актеры в античном театре надевали котурны, чтобы казаться выше и величественнее). **Терпсихора** — муза танцев, **Эрато** — муза любовной поэзии, **Полигимния** — муза торжественной поэзии, **Урания** — муза астрономии, **Каллиопа** — муза эпической поэзии. Горы *Парнас* и *Геликон*, считавшиеся обиталищем муз, находились в области *Аонид*, почему муз называли иногда *аонидами*. С горы *Геликон* сбегал ручей *Пермесс*, поэтому муз называли также *пермесскими царями*. В переносном смысле музы — символ поэтического вдохновения, творчества поэта с отличительными его особенностями (например, муза *Пушкина*).

Наяды — см. *Нимфы*.

Нектар — напиток богов.

Немезида — богиня судьбы и возмездия.

Немейский лев — лев, убитый *Геркулесом*. Это один из двенадцати подвигов, которые должен был совершить *Геркулес*.

Нептун (у древних греков — *Посейдон*) — в римской мифологии бог морей; изображался обычно с трезубцем, которым он усмирал или возмущал морские волны.

Нереиды — см. *Нимфы*.

Нимфы — второстепенные божества, олицетворявшие различные силы природы: **наяды** — нимфы рек и потоков; **нереиды** — морские нимфы, дочери одного из владык морей, *Нерея*; **дриады** — лесные нимфы; **ореады** — нимфы гор. К последним принадлежала нимфа *Эхо*, которая разгневала богиню *Юнону* своей болтливостью и в наказание должна была лишь повторять чужие слова.

Ниобея — дочь царя *Тантала*, мать четырнадцати прекрасных детей. Зато, что *Ниобея* возомнила себя выше богини *Латоны*, матери *Аполлона*, у которой было только двое детей — *Аполлон* и *Артемид*а, боги умертвили стрелами всех детей *Ниобеи*, а *Ниобею* превратили в камень. Но

горе ее было так велико, что даже камень не переставал источать слезы. Ниобея, оплакивающая своих умерщвленных детей,— один из любимых образов живописи, скульптуры и литературы прошлого.

Олимп — гора в северной Фессалии, на которой обитали боги.

Паллада (Афина) — см. *Минерва*.

Парки — три богини судьбы. Одна из них начинала прясть, другая пряла, а третья перерезала нить человеческой жизни.

Парнас — гора в Греции. Горы Парнас и *Геликон* в хребте Пинд, по верованиям древних греков, являлись обиталищем *муз*. На склоне Парнаса, в Дельфах, находился храм *Аполлона*. В переносном смысле Парнас — поэзия, мир поэзии.

Парнасские сестры — *музы*.

Пафос — город на острове Кипр, где, по верованиям древних греков, родилась *Афродита*. В Пафосе был храм, посвященный Афродите.

Пафосская царица — см. *Афродита*.

Пегас — в древнегреческих мифах крылатый конь, под ударом копыта которого забил источник *муз* — *Иппокрена*, вдохновляющий поэтов; символ поэтического вдохновения.

Пелион — гора в Фессалии, одной из северных областей древней Греции. На вершине ее стоял храм *Зевса*.

Пенаты — см. *Лары*.

Пермес — см. *Музы*.

Пермесские царицы — см. *Музы*.

Пилад — см. *Атрид*.

Пинд — горная цепь в Греции. В эту горную цепь входят *Парнас* и *Геликон* — горы, считавшиеся местопребыванием *Аполлона* и *муз*.

Пифон — в древнегреческих мифах дракон, убитый *Аполлоном*.

Плутон — см. *Айдесский бог*.

Помона — богиня плодородия.

Приам — по древнегреческим сказаниям, троянский царь, отец многочисленного семейства.

Приап — бог плодородия. Под его защитой находились стада коз и овец; он покровительствовал пчеловодству и рыбной ловле. Приапа считали также богом наслаждений.

Психея — подруга *Амура*, богиня прелести и грации, олицетворение души («душа» — по-гречески «психе»). Психею изображали с крыльями бабочки. По греческим сказаниям, она была первоначально смертной девушкой, дочерью одного царя. Красота ее возбудила ревность *Афродиты*, и она велела своему сыну *Эроту* зажечь в Психее страсть к самому презренному из людей, но *Эрот* сам влюбился в Психею. Он являлся к ней по ночам и взял с нее слово, что она никогда не будет пытаться увидеть его. Злые сестры уверили Психею, что к ней является во мраке

отвратительное чудовище. Однажды, когда Эрот заснул, Психея внесла светильник и увидела перед собой прекраснейшего из богов. Она наклонилась над ним, и капля горящего масла упала на его плечо. Эрот проснулся. Он горько упрекал ее за непослушание, а потом исчез. Психея бросилась в реку. Но волны вынесли ее на берег. После этого она долго странствовала в поисках Эрота и пришла наконец в храм Афродиты. Разгневанная Афродита обратила ее в рабыню и заставила исполнять самую тяжелую, изнурительную работу. Психея все выносила ради того, чтобы снова увидеть Эрота. Покорность Психеи тронула богов. Зевс даровал ей бессмертие и соединил ее с Эротом навсегда. История Психеи рассказана в повести римского писателя Апулея (II в. н. э.), у Лафонтена, французского писателя XVII века, и у И. Ф. Богдановича в его поэме «Душенька» (1783).

С т и к с — река в подземном царстве мертвых. Притоки Стикса — Ахерон и Коцит.

Т а л и я — см. *Музы*.

Т е р п с и х о р а — см. *Музы*.

Т р и т о н — морское божество, сын Посейдона и Амфитриты, изображался в виде старца или юноши с рыбьим хвостом вместо ног.

Ф а в н — бог земледелия и покровитель пастухов. Его изображали с копытами и с рогами. Фавнами называли также козлоногих спутников *Вакха* — сатиров.

Ф е б — см. *Аполлон*.

Ф л е г е т о н — в древнегреческих мифах огненная река, протекающая в *Аиде*.

Ф л о р а — богиня цветов.

Ф о р т у н а — у древних римлян богиня счастья и удачи; изображалась стоящей на колесе, с рогом изобилия в руках и с повязкой на глазах.

Ф у р и и — у древних римлян три богини мщения; у древних греков им соответствовали *эмениды*, или *эринии*.

Х а р и т ы — см. *Грации*.

Х а р о н — старец, который перевозил в лодке через *Коцит* и *Ахерон* души умерших в царство мертвых.

Ц а р и ц ы Г е л и к о н а — *музы*.

Ц е р б е р — свирепый пес, охраняющий вход в *Аид*.

Ц е р е р а — см. *Керера*.

Ц и р ц е я — волшебница, влюбленная в Одиссея и державшая его у себя на острове в плену. Она описана в поэме Гомера «Одиссея».

Ц и к л о п — в древнегреческих мифах великан с одним глазом посредине лба, работавший в кузнице бога огня Гефеста.

Ц и т е р а — остров в Греческом архипелаге, посвященный Афродите.

Ц и т е р е я — см. *Венера*.

Э в м е н и д ы (Эринии) — см. *Фурии*.

Э л и з и й (Элизей, Элизиум) — рай, счастливая страна, куда после смерти попадают герои и добродетельные люди.

Э о л — бог ветра.

Э р а т о — см. *Музы*.

Э р и н и и — см. *Фурии*.

Э р м и й (у древних римлян — Меркурий) — см. *Гермес*.

Э р о т — см. *Амур*.

Э х о — см. *Нимфы*.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



А

Ангел	57
Анчар («В пустыне чахлой и скупой...»)	64
Арион («Нас было много на челне...»)	56

Б

Барышня-крестьянка	526
«Беги, сокройся от очей...» (Вольность. Ода)	20
Бесы («Мчатся тучи, выются тучи...»)	76
«Безумных лет угасшее веселье...» (Элегия)	77
«Бог помочь вам, друзья мои...» (19 октября 1827)	58
Борис Годунов	203
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»	71
Будрыс и его сыновья («Три у Будрыса сына...»)	91
Буря («Ты видел деву на скале...»)	53
«Буря мглою небо кроет...» (Зимний вечер)	52

В

Вакхическая песня («Что смолкнул веселия глас?...»)	48
«В его «Истории» изящность, простота...» (На Карамзина)	106
«В младенчестве моем она меня любила...» (Муза)	26
«В надежде славы и добра...» (Стансы)	55
«Внимает он привычным ухом свист...» (История стихотворца)	107
«...Вновь я посетил...»	102
«Во глубине сибирских руд...»	55
Воевода («Поздно ночью из похода...»)	93

Возрождение («Художник-варвар кистью сонной...»)	25
Вольность. Ода («Беги, сокройся от очей...»)	20
«Ворон к ворону летит...»	63
«Воспитанный под барабаном...»	109
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день...»)	59
«В последний раз твой образ милый...» (Прощание)	78
«В пустыне чахлой и скупой...» (Анчар)	64
«Враги мои, покамест я ни слова...» (Приятелям)	108
«В степи мирской, печальной и безбрежной...»	56
«В чужбине свято наблюдаю...» (Птичка)	31
Выстрел	492

Г

Герой («Да, слава в прихотях вольна...»)	80
«Город пышный, город бедный...»	64
Граф Нулин	141
Гробовщик	512
Гусар («Скребницей чистил он коня...»)	87

Д

«Дар напрасный, дар случайный...»	60
«Да, слава в прихотях вольна...» (Герой)	80
19 октября («Роняет лес багряный свой убор...»)	48
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои...»)	58
19 октября 1831 («Чем чаще празднует лицей...»)	86
Делибаш («Перестрелка за холмами...»)	73
Демон	32
Деревня («Приветствую тебя, пустынный уголок...»)	23
«Для берегов отчизны дальной...»	82
«Дробясь о мрачные скалы...» (Обвал)	72
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю...»)	58
«Духовной жаждою томим...» (Пророк)	54

Е

Евгений Онегин	321
«Его стихов пленительная сладость...» (К портрету Жуковского)	22

«Если жизнь тебя обманет...»	47
Ex ungue leonem («Недавно я стихами как-то свистнул...»)	108

Ж

Жених	43
-----------------	----

З

«Зима. Что делать нам в деревне?..»	69
Зимнее утро («Мороз и солнце; день чудесный!..»)	70
Зимний вечер («Буря мглою небо кроет...»)	52

И

«Издrevле сладостный союз...» (К Языкову)	33
И. И. Пушкину («Мой первый друг...»)	54
История стихотворца («Внимает он привычным ухом свист...»)	107

К

К*** («Я помню чудное мгновенье...»)	42
Кавказ («Кавказ подо мною...»)	72
«Как брань тебе не надоела?..»	107
«Как ныне собирается вещей Олег...» (Песнь о вещем Олеге)	28
«Как по Волге-реке, по широкой...» (Из песен о Степане Разине)	53
Калмычке («Прощай, любезная калмычка!..»)	68
Капитанская дочка	563
«Картину раз высматривал сапожник...» (Сапожник)	109
К бюсту завоевателя («Напрасно видишь тут ошибку...»)	74
Кинжал («Лемносский бог тебя сковал...»)	27
Клеветникам России («О чем шумите вы, народные витии?..»)	85
К морю («Прощай, свободная стихия!..»)	39
Коварность («Когда твой друг на глас твоих речей...»)	41
«Когда для смертного умолкнет шумный день...» (Воспоминание)	59

Конь («Что ты ржешь, мой конь ретивый...»)	99
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость...»)	22
«Кто, волны, вас остановил...»	31
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...»)	23
К Языкову («Издrevле сладостный союз...»)	33

Л

«Лемносский бог тебя сковал...» (Кинжал)	27
«Лук звенит, стрела трепещет...» (Эпиграмма)	109
«Любви, надежды, тихой славы...» (К Чаадаеву)	23

М

Мадона. («Не множеством картин...»)	75
«Мальчишка Фебу гимн поднес...» (Эпиграмма)	110
Медный всадник	182
Метель	502
«Миг вожденный настал...» (Труд)	77
«Мне не спится...» (Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы)	79
«Мой первый друг, мой друг бесценный...» (И. И. Пущину)	54
«Мороз и солнце; день чудесный!..» (Зимнее утро)	70
Моцарт и Сальери	289
Моя родословная («Смеясь жестоко над собратом...»)	83
Муза («В младенчестве моем она меня любила...»)	26
«Мчатся тучи, выются тучи...» (Бесы)	76

Н

«Над Невою резво вьются...» (Пир Петра Первого)	103
На Карамзина («В его «Истории» изящность, простота...»)	107
На перевод Илиады («Слышу умолкнувший звук...»)	82
«Напрасно видишь тут ошибку...» (К бюсту завоевателя)	74
«Нас было много на челне...» (Арион)	56
На Стурдзу («Холоп венчанного солдата...»)	107
«На холмах Грузии...»	68

«Невод рыбак расстилал...» (Отрок)	79
«Недавно я стихами как-то свистнул...» (Ех ungue leonem)	108
«Не два волка в овраге грызутся...» (Песня о Георгии Черном)	98
«Не множеством картин...» (Мадона)	75
«Не пой, красавица, при мне...»	60
«Не то беда, Авдей Флюгарин...» (Эпиграмма)	110
«Нет ни в чем вам благодати...»	109
«Нет, я не льстец, когда царю...» (Друзьям)	58

О

Обвал («Дробясь о мрачные скалы...»)	72
«О муза пламенной сатиры!..»	106
Осень («Октябрь уж наступил...»)	95
Отрок («Невод рыбак расстилал...»)	79
«Охотник до журнальной драки...»	108
«О чем шумите вы, народные витии?..» (Клеветникам России)	85

П

«Перестрелка за холмами...» (Делибаш)	73
Песнь о вещем Олеге («Как ныне собирается вещий Олег...»)	28
Песня о Георгии Черном («Не два волка в овраге грызутся...»)	98
Пиковая дама	541
Пир Петра Первого («Над Невою резво выются...»)	103
Повести покойного Ивана Петровича Белкина	489
«Погасло дневное светило...»	25
«Поздно ночью из похода...» (Воевода)	93
«Пока не требует поэта...» (Поэт)	57
Полководец («У русского царя в чертогах есть палата...»)	100
Полтава	141
«Полу-милорд, полу-купец...»	107
«Пора, мой друг, пора!..»	98
«Последняя туча рассеянной бури!..» (Туча)	102
Поэт («Пока не требует поэта...»)	57
Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной...»)	66
«Поэт! не дорожи любовью народной...» (Поэту)	75

«Поэт о лире вдохновенной...» (Поэт и толпа)	66
Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной...»)	75
Предчувствие («Снова тучи надо мною...»)	61
«Прибежали в избу дети...» (Утопленник)	61
«Приветствую тебя, пустынный уголок...» (Деревня)	23
Приметы («Я ехал к вам: живые сны...»)	67
Приятелям («Враги мои, покамест я ни слова...»)	108
Пророк («Духовной жаждою гомим...»)	54
«Прощай, любезная калмычка!..» (Калмычке)	68
«Прощай, свободная стихия!..» (К морю)	39
Прощание («В последний раз твой образ милый...»)	78
Прощанье («Промчались годы заточенья...»)	19
Птичка («В чужбине свято наблюдаю...»)	31
«Пустое вы сердечным ты...» (Ты и вы)	59

Р

Разговор книгопродавца с поэтом («Стишки для вас одна забава...») .	34
«Ревет ли зверь в лесу глухом...» (Эхо)	86
«Редет облаков летучая гряда...»	26
«Роняет лес багряный свой убор...» (19 октября)	48
«Румяный критик мой...»	78
Русалка	298

С

Сапожник («Картину раз высматривал сапожник...»)	109
«Сват Иван, как пить мы станем...»	91
«Свободы сеятель пустынный...»	32
«Сижу за решеткой в темнице сырой...» (Узник)	31
Сказка о рыбаке и рыбке	195
«Сказали раз царю...»	108
«Скребницей чистил он коня...» (Гусар)	87
Скупой рыцарь	274
«Слышу умолкнувший звук...» (На перевод Илиады)	82
«Смеясь жестоко над собратом...» (Моя родословная)	83

«Снова тучи надо мною...» (Предчувствие)	61
Стансы («В надежде славы и добра...»)	55
Станционный смотритель	517
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы («Мне не спится...») .	79
«Стишки для вас одна забава...» (Разговор книгопродавца с поэтом) .	34

Т

«Три у Будрыса сына...» (Будрыс и его сыновья)	91
Труд («Миг вожденный настал...»)	77
Туча («Последняя туча рассеянной бури!...»)	102
«Ты видел деву на скале...» (Буря)	53
Ты и вы («Пустое <i>вы</i> сердечным <i>ты</i> ...»)	59

У

Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой...»)	31
«Урну с водой уронив...» (Царскосельская статуя)	78
«У русского царя в чертогах есть палата...» (Полководец)	100
Утопленник («Прибежали в избу дети...»)	61

Ф

Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан живой!...») .	41
---	----

Х

«Холоп венчанного солдата...» (На Стурдзу)	107
«Художник-варвар кистью сонной...» (Возрождение)	25

Ц

Царскосельская статуя («Урну с водой уронив...»)	78
Цветок («Цветок засохший, безуханный...»)	65
Цыганы	113

Ч

«Чем чаще празднует лицей...» (19 октября 1831)	86
«Что в имени тебе моем?..»	74
«Что смолкнул веселия глас?..» (Вакхическая песня)	48
«Что ты ржешь, мой конь ретивый...» (Конь)	99

Э

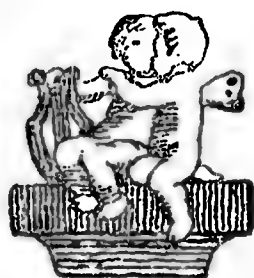
Элегия («Безумных лет угасшее веселье...»)	77
Эпиграмма (Из Антологии)	109
Эпиграмма («Лук звенит, стрела трепещет...»)	109
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес...»)	110
Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»)	110
Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом...»)	86

Ю

«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...»	100
---	-----

Я

«Я вас любил: любовь еще, быть может...»	71
«Я ехал к вам: живые сны...» (Приметы)	67
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	105
«Я помню чудное мгновенье...» (К***)	42





СОДЕРЖАНИЕ

Д. Благой. Гений русской и мировой литературы 3

СТИХОТВОРЕНИЯ

Лицей. Петербург

1817—1820

Прощанье («Промчались годы заточенья...»)	19
Вольность (Ода)	20
К портрету Жуковского	22
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...»)	23
Деревня	—
Возрождение	25

На Юге

1820—1824

«Погасло дневное светило...»	25
«Редет облаков летучая гряда...»	26
Муза	—
Кинжал	27
Песнь о вещем Олеге	28
Узник	31
Птичка	—
«Кто, волны, вас остановил...»	—
Демон	32
«Свободы сеятель пустынный...»	—

В Михайловском
1824—1826

К Языкову	33
Разговор книгопродавца с поэтом	34
К морю	39
Коварность	41
Фонтану Бахчисарайского дворца	—
К*** («Я помню чудное мгновенье...»)	42
Жених	43
«Если жизнь тебя обманет...»	47
Вакхическая песня	48
19 октября («Роняет лес багряный свой убор...»)	—
Зимний вечер	52
Буря	53
«Как по Волге-реке, по широкой...»	—
Пророк	54

После ссылки
1826—1830

И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!...»)	54
Стансы («В надежде славы и добра...»)	55
«Во глубине сибирских руд...»	—
«В степи мирской, печальной и безбрежной...»	56
Арион	—
Ангел	57
Поэт	—
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои...»)	58
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю...»)	—
Воспоминание	59
Ты и вы	—
«Дар напрасный, дар случайный...»	60
«Не пой, красавица, при мне...»	—
Предчувствие	61
Утопленник	—
«Ворон к ворону летит...»	63
«Город пышный, город бедный...»	64
Анчар	—
Цветок	65
Поэт и толпа	66
Приметы	67
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»	68
Калмычке	—
«Зима. Что делать нам в деревне?..»	69

Зимнее утро	70
«Я вас любил: любовь еще, быть может...»	71
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»	—
Кавказ	72
Обвал	—
Делибаш	73
К бюсту завоевателя	74
«Что в имени тебе моем?..»	—
Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной...»)	75
Мадона	—
Бесы	76
Элегия («Безумных лет угасшее веселье...»)	77
Труд	—
Царскосельская статуя	78
Прощание	—
«Румяный критик мой...»	—
Отрок	79
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы	—
Герой	80
На перевод Илиады («Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...»)	82
«Для берегов отчизны дальной...»	—
Моя родословная	83

Последние годы
1831—1836

Клеветникам России	85
Эхо	86
«Чем чаще празднует лицей...»	—
Гусар	87
«Сват Иван, как пить мы станем...»	91
Будрыс и его сыновья	—
Воевода	93
Осень (Отрывок)	95
«Пора, мой друг, пора!..»	98
Песня о Георгии Черном	—
Конь	99
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...»	100
Полководец	—
Туча	102
«...Вновь я посетил...»	—
Пир Петра Первого	103
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	105

ЭПИГРАММЫ

«О муза пламенной сатиры!..»	106
На Карамзина («В его «Истории» изящность, простота...») . .	107
На Стурдзу	—
«Как брань тебе не надоела?..»	—
История стихотворца	—
«Полу-милорд, полу-купец...»	—
«Охотник до журнальной драки...»	108
«Сказали раз царю, что наконец...»	—
Приятелям	—
Ех ungue leonem («Недавно я стихами как-то свистнул...») . .	—
«Воспитанный под барабаном...»	109
«Нет ни в чем вам благодати...»	—
Эпиграмма (Из Антологии) («Лук звенит, стрела трепещет...») .	—
Сапожник (Притча)	—
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес...»)	110
Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»)	—

ПОЭМЫ

Цыганы	113
Граф Нулин	131
Полтава	141
Медный всадник	182
Сказка о рыбаке и рыбке	195

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Борис Годунов	203
Скупой рыцарь	274
Моцарт и Сальери	289
Русалка	298

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Роман в стихах

Евгений Онегин	319
--------------------------	-----

ПРОЗА

Повести покойного Ивана Петровича Белкина	489
Выстрел	492
Метель	502
Гробовщик	512
Станционный смотритель	517
Барышня-крестьянка	526
Пиковая дама	541
Капитанская дочка	563
 Комментарии	 645
 Словарь мифологических имен и названий	 715
 Алфавитный указатель	 722

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(том 3)

Александр Сергеевич Пушкин

ИЗБРАННОЕ

*

Ответственный редактор

Э. М. Лемперт

Художественный редактор

Л. Д. Бирюков

Технический редактор

С. Г. Маркович

Корректоры

Л. М. Агафонова

и Э. Л. Лофсфельд

*

Сдано в набор 22/III 1976 г. Подписано к печати 14/VII 1976 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 47,13. Уч.-изд. л. 41,76+9 вкл.=42,32. Тираж 400 000 (1—200 000) экз. Заказ № 2653. Цена 1 р. 89 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, Сушеvский вал, 49.

Пушкин А. С.

П91 Избранное. Общ. ред. и предисл. Д. Благого.
Оформл. и ил. Б. Дехтерева. М., «Дет. лит.», 1976.

734 с. с ил.+вкл. (Библиотека мировой литературы для
детей, том 3).

Книга состоит из разделов: стихотворения, эпиграммы, поэмы, драма-
тические произведения, «Евгений Онегин», проза. С предисловием, коммента-
риями, словарем мифологических имен и названий и алфавитным указателем.

П $\frac{70803-488}{M101(03)76}$ Подп. изд.

Р1

Scan Kreyder - 21.05.2016
STERLITAMAK



1 р. 89 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»